

Эля Колесникова

ВВЕДЕНИЕ
В ТЕОРИЮ
РИТОРИКИ



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МОСКВА 2014

S T U D I A P H I L O L O G I C A



УДК 80/81
ББК 83.7
К 60

Колесникова Э.

К 60 Введение в теорию риторики. — М.: Языки славянской культуры, 2014. — 160 с. — (Studia Philologica).

ISBN 978-5-9551-0681-6

Книга посвящена проблемам теории риторики. Рассматриваются как классические греко-римские, так и современные теоретические модели. В область риторических исследований вводятся те направления лингвистической и лингвофилософской мысли, которые традиционно оставались за ее пределами. В последней главе предлагается альтернативный подход к теории риторики и определению границ «риторического».

Для лингвистов, филологов, студентов, аспирантов и преподавателей риторики.

ББК 83.7

*В оформлении обложки использован
фрагмент картины Б. Гоццолли
«Св. Августин преподает риторику и философию в Риме»*

Эля Колесникова

ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ РИТОРИКИ

Корректор Л. Панова. Оригинал-макет подготовлен Л. Пановой

Художественное оформление переплета И. Богатыревой

Подписано в печать 04.11.2013. Формат 60х90 1/16. Бумага офсетная № 1, печать офсетная.

Гарнитура Times. Усл. печ. л. 10. Тираж 300. Заказ №

Издательство «Языки славянской культуры».

№ государственной регистрации 1037739118449.

Phone: **8-495-959-52-60**. E-mail: Lrc.phouse@gmail.com

Site: <http://www.lrc-press.ru>, <http://www.lrc-lib.ru>

ISBN 978-5-9551-0681-6

© Э. Колесникова, 2014

© Языки славянской культуры, 2014

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	7
Глава 1. Риторика и риторическое в европейской культуре.....	9
Глава 2. Классическая риторика: нормативная модель.....	22
Глава 3. Неориторика: дескриптивная модель.....	36
Глава 4. Риторика без риторики.....	56
Глава 5. Естественная vs культивированная речь.....	73
Глава 6. ИмPLICITная семантика как риторический прием.....	85
Глава 7. Возможна ли универсальная риторика?.....	97
Глава 8. Риторика как врожденная способность.....	114
Примечания.....	125
Литература.....	147

Сегодня мне никуда не деться от грусти, потому что человек, от которого я ждала бы самой бескомпромиссной критики и — хочется верить — великодушной похвалы, уже никогда не прочтет этот текст.

Светлой памяти Тани Райнхарт я посвящаю эту книгу

ПРЕДИСЛОВИЕ

Если вы учите своих студентов тому же, чему и пять лет назад, то либо ваш предмет мертв, либо вы разучились мыслить.

Ноам Хомский

Рядом со словом *риторика* есть большой соблазн поставить *история*, а не *теория*: это не только сразу упрощает задачу автора, но и гораздо более определенно сообщает читателю о том, что его ждет под обложкой. Историю риторики, при всех подстерегающих сложностях, всё-таки вполне возможно изложить линейно, начиная, разумеется, от античной Греции и завершая сегодняшним днем. С теорией всё непонятно. Если в теоретическом поле риторики мы попытаемся отыскать хоть какое-то единство, мы опять-таки окажемся в греко-римском периоде и, незаметно для себя, перейдем на историческое изложение. В XX—XXI вв. мы ничего хоть сколько-нибудь похожего на единую теорию не обнаружим, даже обратившись к так называемому риторическому ренессансу — короткому периоду с конца 50-х до примерно середины 70-х гг. XX в. Тут нас ждет довольно пестрая мозаика, собрать все кусочки которой в единое полотно невозможно. И, по большому счету, не нужно: сколь бы тщательно мы ни складывали вместе разрозненные фрагменты, целостной теории мы, увы, не получим. Дело в том, что все исследователи, занимавшиеся в XX в. риторической проблематикой, практиковали описательный, а не теоретический подход: они искали ответы на вопрос *как?*, чуть реже — *зачем?*, однако вопрос *почему?*, который в первую очередь и прежде всего ставит теория, традиционно оставался «в темном поле сознания». Это ни в коем случае не упрек и тем более не укор — просто эти исследователи ставили перед собою задачи иного рода.

В этой книге я отдала дань традиции, в первых главах представив риторику в исторической перспективе — Глава 2 посвящена классиче-

ской греко-римской риторике, Глава 3 — неориторике. Однако начиная с Главы 4 я постаралась включить в область теории риторики тот круг проблем и вопросов, которые традиционно остаются за кадром, однако, по моему глубокому убеждению, самым непосредственным образом касаются главной теоретической проблемы риторики — как и почему возможна эффективная речь?

Рассматривая современную риторiku, я уделила большое внимание не только тем направлениям и отдельным авторам, которые эксплицитно определяли свои исследования как риторические, но и тем, которые непосредственно к риторике не относятся, а порою и вовсе не используют даже самого этого слова, однако круг их научных интересов отчетливо пересекается с риторической проблематикой. Отдельная глава посвящена проблеме соотношения спонтанной и культивированной речи, являющейся, по моему глубокому убеждению, одной из центральных проблем риторики. Вопреки сложившейся традиции я лишь пробежалась по теме тропов и фигур речи, не останавливаясь на ней подробно. Для этого есть по крайней мере две причины. Во-первых, имеющаяся — в том числе и на русском языке — литература по вопросу огромна и любой заинтересованный читатель без труда может к ней обратиться. Во-вторых (что для меня более важно), место фигур речи в теории риторики мне кажется изрядно преувеличенным.

Разумеется, круг проблем теории риторики существенно шире того, который мне удалось здесь очертить. Единственное, что меня в какой-то мере извиняет — это то, что всякий научный результат является заведомо промежуточным. Это обстоятельство, наряду с чудесным афоризмом Поля Валери, который любил цитировать Уистан Хью Одэн — *a poem is never finished, it is only abandoned* — позволили мне поставить в этой работе точку.

Я выражаю огромную благодарность Номе, Джозефу, Ксене, Фрэнку, Лере, Лёне и моей маме за критику, бесценные научные советы, постоянную поддержку и человеческое тепло. Вместе с сердечной благодарностью я прошу их принять мои извинения за все недостатки, которые вопреки их стараниям всё же остались в книге.

ГЛАВА 1. РИТОРИКА И РИТОРИЧЕСКОЕ В ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Напрасно думают, что это — умение говорить то, чего на самом деле не думаешь. Это — умение сказать именно то, что ты думаешь, но так, чтобы не удивлялись и не возмущались. Умение сказать свое чужими словами. Музы в прологе к «Феогонии» говорят:

Мы знаем, как сказать много неправд
Похожими на правду,
Но и знаем, как выговорить правду,
Когда хотим.

М. Л. Гаспаров. Записи и выписки

Древние греки, отцы-основатели риторики, определяли ее как *науку убеждать*. В это минималистское определение укладываются, вообще говоря, все цели и задачи риторики, которые перед ней ставили греки. Очевидно, что определение было адресовано в первую очередь к *покупателю* риторики: это был ее товарный знак, слоган бренда, призванный в сжатой форме объяснить полезность риторики и ее необходимость. Сегодня это греческое определение сгодится лишь отчасти, поскольку убеждение является хоть и основной, но отнюдь не единственной задачей риторики. В наши дни риторике стоило бы дать несколько другое определение, столь же минималистское: *наука об эффективной речи*. Что происходило с этой одновременно очень древней и очень современной наукой на пути от одной кратчайшей дефиниции до другой, я постараюсь показать в этой книге.

Почему вообще появилась эта специальная область знания? И зачем? Что дает нам основания со спокойной совестью называть точное время возникновения риторики — V в. до н. э.? Ведь убеждающая и эффективная речь существовала всегда, во все времена и во всех культурах¹. Почему же тогда мы так определенно локализуем

риторику во времени и пространстве: V в. до н. э., Древняя Греция? И даже еще точнее — увеличим масштаб карты — V в. до н. э., Афины?

Ровно столько, сколько существует естественный человеческий язык, у его носителей есть потребность кого-то в чем-то убеждать, т. е. использовать язык с наибольшей эффективностью. Каждый человек с сохранной языковой способностью может порождать на родном языке неисчислимое количество устных и письменных текстов в самых разнообразных речевых жанрах. Это, так сказать, дано нам от рождения. Зачем же тогда риторика — специальная наука о том, как это делается? Ведь нет же науки о том, как ходить, дышать или глотать? А будь такая наука и рискни мы ею воспользоваться, мы бы долго стояли на месте перед тем, как сделать первый шаг, припоминая и обдумывая, какую группу мышц следует привести в движение.

Однако попробуем посмотреть под несколько иным углом зрения. Человека, от природы наделенного способностью петь, мы ведь не называем певцом. А имеющего актерские способности называем артистом разве что фигурально. И в самом деле: обе эти сферы деятельности — и певческая, и актерская — требуют выучки, овладения мастерством (на понятие *мастерства* обратим внимание, оно нам очень скоро потребуется). Мастерство человек приобретает от кого-то: прямого или непрямого учителя, который прежде сам овладел этим навыком и изучил эту область, т. е. подверг ее рефлексии. Для того чтобы появилась новая область знания, именно это и нужно: рефлексия и профессиональная выучка.

С этого и началась в Древней Греции риторика.

Любая наука начинается с поиска нового знания, направленного на тот или иной *объект*. В процессе ее становления формируется *предмет* исследования, который не дан нам в непосредственном наблюдении, а представляет собою некоторый, если угодно, конструкт, созданный учеными для своих исследовательских целей. Объектом риторики является *речь*. Она существует совершенно независимо от воли и желания исследователя и, конечно же, прекрасно существовала и до всякой риторики. А вот *эффективная речь* — предмет изучения риторики — вычленяется лишь на основании рефлексии над речью, т. е. путем проделывания некоторых исследовательских процедур. Вычленение этого предмета исследования стало возможным лишь тогда, когда естественная человеческая речь превратилась в объект исследования.

Один и тот же объект может быть предметом целого ряда наук, порой никак между собою не связанных и предельно далеких друг от друга. Возьмем для примера что-нибудь вполне банальное. Например, стол. Один и тот же, стоящий на одном и том же месте, он может быть предметом исследования геометрии, физики, химии, экономики, криминалистики, истории культуры (которую, допустим, может интересовать вопрос о том, какого рода мебель использовалась в присутственных местах в такое-то время в такой-то стране). Для историка культуры химический состав материала, из которого стол сделан, просто не существует. Как для физика не существует стоимость этого стола, занимающая экономиста. И так далее.

То же самое и с человеческой речью. Речь может быть предметом исследования лингвистики, психологии, психиатрии, физиологии и т. д. Но лишь риторика она интересует исключительно с точки зрения ее эффективности.

Начало риторике в Афинах положил софист Горгий². В 427 г. до н. э. он приезжает в Афины, самый сильный полис Греции, в качестве посланника своего родного города Леонтины, переживавшего тогда несладкие времена из-за военных нападений со стороны соседних Сиракуз. Горгия сограждане отрядили в Афины, ему предстояла нелегкая задача — убедить афинян не отказать в помощи, а афиняне в то время были не очень скоры на поддержку всякого, кто ни попросит. Горгий произносит речь, вошедшую в историю культуры под названием «Похвала Елене» (Ἐλένης ἐγκώμιον)³; речь очаровывает афинскую публику; Леонтины получают помощь. Что так понравилось афинянам, изрядно избалованным к этому времени всякого рода искусствами? Их поразило прежде всего то, как Горгий украсил свою речь — впервые они услышали *культивированную прозу*. После этого Горгий остался в Афинах и начал преподавание новой науки *риторики* среди афинских граждан.

Следует заметить, что появлению риторики в Древней Греции предшествовали очень важные политические обстоятельства, подготовившие для нее питательную почву. На рубеже VII—VI вв. до н. э., при Солоне, знаменитом древнегреческом поэте и политическом деятеле, в Афинах утвердился принцип равенства граждан — *исополитейя* (ἰσοπολιτεία). Одновременно юридически было закреплено равное для всех граждан право выступать в народном собрании, получившее название *исегория* (ἰσηγορία), дословно ‘равногласие’ или ‘равного-

ворение', т. е. — на современном языке — *свобода слова*. В качестве единицы юридического языка *исегория* означала не просто 'равное для всех граждан право говорить в народном собрании', но и 'равноправие' вообще. Таким образом, для греков равенство в правах — это в первую очередь равенство в праве говорить. (Примечательно, что после реформ Солона *исегория* стала употребляться в качестве контекстуального синонима слова *демократия*).

К тому времени, когда появилась риторика, в Древней Греции на нее были два очень влиятельных заказчика — публичная политика и юриспруденция. И та и другая сферы деятельности испытывали потребность в ораторах, умеющих своим словом влиять на людей.

На спрос откликается предложение: с середины V в. до н. э. в Афинах открываются первые риторические школы, в которых учителя-риторы передают желающим навык говорить убедительно и эффективно. Античная риторика была абсолютно рациональной дисциплиной — в ее основе лежали общие правила, которые принципиально поддавались передаче ученику. В этом смысле совершенно очевиден и прозрачен смысл знаменитой фразы Цицерона: *poetae nascuntur, oratores fiunt* — *поэтами рождаются, ораторами становятся*. В самом деле, поэзия в Древней Греции относилась к так называемым мусическим искусствам: ей ведали музы Эрато (покровительница лирической поэзии и эротических стихов) и Каллиопа (покровительница эпической поэзии); поэт полагался истолкователем муз, его дело было лишь услышать и передать услышанное другим. В этом «лишь» и был особый дар — музы не диктовали направо и налево, и диктуемое ими мог услышать далеко не каждый желающий. У риторики же музы не было. Ее, можно сказать, позиционно замещало чрезвычайно важное для древнегреческой культуры понятие — *τέχνη*. Его довольно трудно — как почти все культурообразующие греческие понятия — однозначно перевести на русский язык. Это, вообще говоря, ремесло, но только без тех отрицательных коннотаций, которые есть у этого слова в современную эпоху, склонную поспешно противопоставлять творца и ремесленника. Это ремесло в высоком смысле слова, искусство, а точнее — *искусность*.

Для того чтобы понять суть греческой риторики, необходимо в первую очередь обратиться к ее полному названию — *τέχνη ρητορική*. Слово *τέχνη* можно перевести на русский язык как 'искусство', однако такой перевод скорее скроет, чем прояснит суть дела. Семантика *τέχνη*,

одного из ключевых древнегреческих концептов, может рассказать о риторике едва ли не больше, чем подробное описание риторических практик древних греков.

Семантику концепта τέχνη в том виде, в каком она оформилась в греческом языке к середине V в. до н. э., приблизительно можно передать как ‘профессиональное умение, основанное на знании и опыте’. Профессиональное умение в данном случае лучше сузить, ограничив лишь умением ремесленным — τέχνη зародилась в сфере ремесла, а потому подразумевала утилитарность знания, его практическую пользу, *полезность*. Первоначально понятие τέχνη относилось к сфере исключительно ремесленного труда: этим словом обозначался навык повара, земледельца, камнетёса. Софисты расширяют это понятие, включая в него и область умственного труда, однако *полезность* по-прежнему остается определяющим критерием. Новые дисциплины, возникающие в V—IV вв до н. э., ориентированы на «ремесленный образец», на τέχνη, и их названия образуются по одной и той же модели с суффиксом -ικος: ἀριθμητική, ἁρμονική, λογιστική, γυμναστική, ρητορική, μηχανική, ὀπτική и т. п. (см. [Жмудь 2002: 78]). Эти новые иκος-науки противопоставляются старым натурфилософским дисциплинам типа μετεωρογία, которые мыслятся софистами как знание ради знания, досужие размышления о ненужных и бесполезных вещах.

Латинской калькой греческого τέχνη является слово ars, всем хорошо знакомое по европейским языкам. Тέχνη, ars — это мастерство, которому нужно (а главное — можно) научиться. Именно в этом, кстати говоря, смысл известного латинского речения *ars longa, vita brevis est* — жизнь коротка, а мастерству (ремеслу) надо долго учиться.

Теорию τέχνη можно резюмировать в виде нескольких тезисов: 1) никакая τέχνη не может возникнуть и существовать без конкретной цели; τέχνη — практически ориентированный вид знания; ср. греческое определение, приписываемое Зенону Элейскому: «τέχνη — это упорядоченная совокупность постижений, сообразованных с некоей полезной для жизни целью» [Фрагменты 1998: 40]; стимул для возникновения τέχνη — определенная жизненная задача: лечение болезни, обеспечение пищей, умение убедительно говорить; τέχνη, возникающая по насущной надобности, выстраивается под конкретную задачу и/или задачи; 2) τέχνη — узкоспециальный вид знания, его предметная область четко очерчена; 3) τέχνη — методологически

ориентированный вид знания. Ср. еще одну дефиницию, приписываемую тому же Зенону: «τέχνη — это настрой, указывающий путь, т. е. такой, который производит нечто, пользуясь определенным путем и способом (μεθόδου)» [Фрагменты 1998: 39], а также дефиницию, приведенную Квинтилианом в «Наставлениях оратору»: «τέχνη — как определил Клеанф — это способность, создающая определенный способ, т. е. порядок действия» [Фрагменты 1998: 172]; 4) любой τέχνη можно обучиться: специалист в конкретной области может (и должен) передать свои знания и навыки ученику [Жмудь 2002: 77].

Результатом практического воплощения тезиса (4) явились многочисленные методические руководства, учебные пособия, которые метонимически стали тоже называться τέχνηαι: именно таким τέχνηυ был первый — не дошедший до нас — учебник риторики, написанный двумя сицилийскими греками, софистами Кораком и Тисием.

Какой навык должен был передать учитель ученику риторической школы? Прежде всего — навык эффективного использования родного языка. Речевой навык у ученика сформирован с детства; ученик владеет родным языком, свободно говорит на нем, но как сделать так, чтобы это говорение стало максимально эффективным? Ведь на одном и том же языке его носители могут написать поэтический шедевр, блестящую ораторскую речь, нежное и пылкое романтическое послание и убогую канцелярскую инструкцию. Во всех случаях язык предоставляет в распоряжение одни и те же средства. Вопрос лишь в том, как их использовать. А также и в том, каковы эти средства. Для древних греков язык — это материя. Задача ритора — эту материю оформить, т. е. придать ей форму, подобно тому, как скульптор придает форму камню, а гончар глине. Качество скульптуры или глиняного сосуда при этом будет зависеть не только от мастерства (τέχνηυ) создателя, но и от свойств материала, из которого они делаются. Чтобы хорошо оформить материю, нужно прежде всего эту материю изучить, узнать ее свойства.

То же самое и с риторикой. Хорошая речь — это форма, в которую заключается естественный человеческий язык. Язык — это материя, из которой эта хорошая речь может быть сделана. Значит, задача ритора — изучить свойства материи, иначе какой навык он передаст ученику? Разумеется, риторы обращаются к изучению языка и речи. И вот это для становления риторики центральный пункт — то, что отличает риторику как профессиональное знание от просто красно-

речия как врожденной или спонтанно приобретенной способности. В основе риторики в первую очередь лежит рефлексия над речью, риторика делает речь предметом изучения и исследования, чего спонтанное красноречие, конечно, не делает и сделать не может. Если поэт может не иметь никакой поэтической или эстетической программы и не знать или быть не в состоянии объяснить, как у него получаются именно такие стихи, то ритор этого позволить себе не может. Он всегда знает, как и из чего он делает речь. И не просто знает, а может это внятно объяснить. В противном случае порождаемые им тексты находятся за границами риторики. Таков был взгляд на риторику, сохранявшийся на протяжении всего классического — греко-римского — периода ее развития.

Одно из самых остроумных определений дал риторике М. Л. Гаспаров: «Риторика всегда там, где человек сначала думает, а потом говорит». Думает не только о том, *что* сказать, но и как сказать. Риторический текст в греко-римской культуре — это всегда текст *культуривированный*, никогда не спонтанный. Греческие теоретики риторики опирались на три важнейших принципа: естественная человеческая речь может и должна быть предметом рефлексии; задача ратора — возвыситься над обыденной разговорностью; механизм создания риторического текста может быть прослежен от начала и до конца.

В эпоху Античности были написаны теоретические труды по риторике, благодаря которым она оформилась в стройную систему. Это в первую очередь и прежде всего работы Аристотеля («Риторика», «Тописка», «О софистических опровержениях») и двух латинских авторов: Цицерона («О нахождении», «Тописка», «Оратор», «Брут», «Об ораторе») и Квинтилиана, которому принадлежит самый полный учебник по античной риторике — «Риторические наставления» (*Institutio oratoria*) в 12 книгах. Эти труды и по сей день не утратили своей ценности, это не архивные документы, покрытые вековой пылью библиотек, а тексты, участвующие в современном научном процессе не в меньшей степени, чем работы по риторике, появившиеся в XX в. Так называемый «риторический ренессанс» прошлого столетия — мы к этому еще вернемся — начался именно с обращения к трудам Аристотеля.

Риторика в качестве практического руководства, т. е. «пособия по красноречию», разработана античными авторами едва ли не исчер-

пывающе. Любая новая практическая рекомендация почти неизбежно будет повторять — пусть не дословно, но уж точно по сути — сказанное много столетий назад Демосфеном, или Лисием, или Аристотелем, или Цицероном.

Первыми риториками были софисты — платные учителя красноречия. *Софист* по-гречески — это ‘человек, опытный (и авторитетный) в каком-либо деле’. Это значение сохраняет, например, современный английский язык в слове *sophisticated*, ‘искушенный, умудренный опытом’. Первоначально в древнегреческом языке лексемы σοφιστής ‘софист’ и σοφός ‘мудрый’ выступали в качестве синонимов.

Слово *риторика* тоже связано с софистами. С самым, наверное, знаменитым из них — Горгием, хотя не он вводит это слово в оборот. До сих пор в классической филологии нет точного ответа на вопрос, когда и у кого впервые появляется слово *риторика*. Точно можно сказать лишь то, что в сохранившихся греческих текстах и фрагментах до IV в. до н. э. этот термин не встречается ни разу. В Тезаурусе греческого языка полностью отсутствуют «досократические» упоминания *риторики*. Есть лишь одно употребление слова ῥήτωρ в значении ‘оратор’. Высока вероятность того, что первое употребление слова *риторика* встречается в диалоге Платона «Горгий», написанном около 385 г. до н. э. [Кассен 2000: 162—163].

Софисты вошли в историю в основном лишь внешней стороной своей деятельности. Широко известны так называемые *софизмы* (от греч. σοφισμα, ‘мастерство, умение, хитрая выдумка, уловка, мудрость’) — задачи на то, чтобы найти неправильный ход мысли. Далеко не всегда авторами софизмов были софисты. Один из самых древних софизмов — «Рогатый» — приписывают представителю мегарской школы Эвбулиду: *всё, что ты не потерял, у тебя есть; ты не потерял рога; значит, они у тебя есть*. Эвбулид же, по всей видимости, — автор софизма «Лжец» (строго говоря, это не софизм, а логический парадокс): *критянин сказал: все критяне лжецы; сказал он правду или солгал?*

Но это лишь поверхностный слой софистики. Гораздо важнее было другое: развитие ораторского искусства стимулировало изучение языка. Софистов можно считать первыми европейскими лингвистами. Их языковедческие исследования вполне укладываются в рамки τέχνη: их целью была не чистая теория, но изучение языка исключительно ради его практического применения. Иными словами,

ради успешной риторической практики. Все признаки τέχνη в риторико-лингвистических исследованиях софистов налицо: принесение пользы; четко сформулированная задача; специальное (профессиональное) знание; обучаемость.

Софисты впервые поставили наиболее, пожалуй, важный для античной философии языка вопрос: берут ли слова свое начало в сущности или же они возникли «по уговору», т. е. являются конвенциональными. Софисты доказывали, что нет никакой прямой связи между, например, существом, обозначаемым словом ἄνθρωπος (человек), и звуковым комплексом ἄνθρωτος. Своей идеей слов «по уговору» софисты предвосхитили теорию знака, показавшую, что в языке как семиотической системе содержание знака не совпадает с его материальной характеристикой. Отсюда следовали весьма существенные для риторики выводы: если язык существует «по уговору», как любой закон, его можно и нужно усовершенствовать, как совершенствуются законы. Например, если в языке имеются двуродовые формы (ср. русские *манжет-манжета, банкнот-банкнота*), то узаконить надо одну из них, а от второй избавиться. Таким образом появляется проблема языковой нормы и узуса (а также нормализаторской деятельности лингвиста) — проблема, дискутируемая в лингвистике и по сей день.

Почти каждый из софистов внес в становление науки о языке существенный вклад. Протагор был первым в европейской культуре мыслителем, начавшим изучение грамматического строя языка. Он впервые стал различать три рода имени (мужской, женский и вещный) и четыре типа высказываний (вопрос, ответ, поручение, просьбу). Последнее разграничение позволило в дальнейшем выделить в греческом языке категорию наклонения [ИЛУ 1980: 125].

Большой интерес к языку проявлял и Продик. В частности, в сферу его внимания входило то, что сегодня называется синонимикой. По свидетельству Платона, Продик изучал различия в семантической структуре близких по значению слов: *спорить* и *ссориться, радоваться* и *наслаждаться* и т. п. Исследовав пары таких слов, Продик пришел к выводу о том, что полных синонимов не существует, поскольку за каждым словом стоит определенный объект действительности, а ему, в свою очередь, может соответствовать в языке лишь одно слово.

Гиппий сделал ряд наблюдений над звуковым строем греческого языка: по свидетельству Платона, Гиппий рассуждал «о правильности

ритмов, гармоний и букв», «о свойствах букв, слогов, ритмов, гармоний» [ИЛУ 1980: 130].

Таким образом, в области интересов софистов оказываются все ярусы языка: фонетика (Гиппий), лексика (Продик), грамматика (Протагор). Примеры языковедческих штудий софистов можно еще продолжать: например, они заложили основы лексикографии как научной дисциплины. Но дело даже не столько в частных лингвистических достижениях — софистам принадлежит общее открытие того, что родной язык, знакомый с детства, *надо изучать*. Эта догадка софистов была совершенно гениальной: они смогли увидеть неизвестное в привычном и знакомом, начать исследование там, где, казалось бы, исследовать и вовсе нечего. Пройдет больше двух десятков веков, и Бенджамин Ли Уорф скажет: «Весьма трудно взглянуть со стороны и изучить объективно родной язык, который является привычным средством общения и своего рода неотъемлемой частью нашей культуры» [Уорф 1960: 139].

Связь риторики с исследованием языка была у софистов двусторонней: наблюдения над языком влияли на риторическую теорию и практику, которая, в свою очередь, предоставляла большие возможности для развития теории языка. Конечно, изучение и описание языка давало возможность первым греческим риторам с большей эффективностью применять те или иные языковые средства. Но и наоборот: наблюдение над используемыми — порой неосознанно — языковыми средствами могло многое рассказать об устройстве языка. Риторика позволила заметить в языке то, что без нее могло бы остаться и вовсе незамеченным. Практические задачи требовали теоретических исследований.

Постепенно лингвистические проблемы уходят на периферию риторики. Однако не покидают ее окончательно.

Показательным примером является в этом отношении Стоя. Это вторая после софистов школа, внесшая заметный вклад в развитие лингвистического знания. То большое место, которое занимают в философии стоиков (в частности, Зенона, Хрисиппа, Диогена Вавилонского) проблемы языка, дает все основания считать Стою не только философской школой, но и одной из наиболее крупных античных школ в истории лингвистических учений. Взгляды стоиков на язык гораздо более систематичны, нежели взгляды софистов. Софистов занимала проблема практического использования языка, стоиков

же — отвлеченные теоретико-философские проблемы (с современной точки зрения можно, слегка упрощая, сказать, что софисты были *функционалистами*, а стоики — *формалистами*). Стоики создали целостную систему знаний о слове скорее в философском, чем в чисто лингвистическом понимании: предметом их интереса было слово как λόγος (а не ὄνομα / ῥῆμα), включающее в себя речь и разум (мысль). Собственно говоря, именно на изучение *логоса* были ориентированы три составляющие стоической философии — логика, физика и этика. Учение стоиков разрабатывалось на основе языкового материала, и в первую очередь на основе того, что сегодня мы бы назвали семантическим синтаксисом.

Риторика у стоиков — часть логики, но сама логика понимается ими на несколько особый лад: не как наука о законах и формах мышления, но как учение о речи, предметом которого являются вербальные знаки и то, что ими обозначается. Риторика стоиков «есть наука хорошо говорить при помощи связных рассуждений» (Diog. Laert. VII, 42). Таким образом, именно стоики впервые эксплицировали понятие связности текста — чрезвычайно важное для риторики понятие.

Со временем *риторика* получила ассоциации, совершенно не предполагавшиеся в исходном термине: *риторика* стала зачастую обозначать красивую, идеально выстроенную, но вовсе бессодержательную, т. е., попросту говоря, пустую речь. И в то же время — искусство вводить в заблуждение, обманывать, дурачить с помощью определенного набора технических средств. Иными словами, риторика превратилась в искусство лукавого слова, в языковую стратегию воздействия на слушателя с помощью демагогии и обыкновенной лжи. А ритор стал представляться ловким фокусником-гастролером с крапленой колодой карт в кармане и белым кроликом в рукаве.

Протестующая реакция на софистику и риторику последовала очень оперативно: расцвет софистики можно датировать примерно 425 г. до н. э., а уже в 423 г. появился самый знаменитый культурный протест: комедия Аристофана «Облака».

Аристофан отказывает софистам даже во владении τέχνη. На вопрос сына, чему учат в «мыслильне» Сократа, Стрепсиад, герой «Облаков», отвечает: «И тех, кто денег даст им, пред судом они / Обучат кривду делать речью правою». Желание обучиться этой кривде приводит Стрепсиада в мыслильню, однако он обманывается в своих ожиданиях — Сократ учит его сущей ерунде: например, тому, что

куруцу следует называть не существующим в греческом языке словом *ἄλεκτρίαινα*, а не *ἄλεκτρίων*⁴ и т. п.

Риторика, как и *софистика*, получает негативное звучание уже в греческом языке, оно наследуется латынью и переходит затем в национальные европейские культуры. К XIX в. лексема *риторика* во всех европейских языках обладала устойчивым набором отрицательных коннотаций, в той или иной степени сохраняющимся и по сей день.

На рубеже XVIII—XIX вв. место *τέχνη* занимает вдохновение и риторика оказывается системой сухих и мертвых правил, препятствующих свободному творчеству. В XIX в. идея *τέχνη*, более двух тысяч лет сохранявшаяся в европейской культуре, заменяется идеей *гения*, и романтики (Шатобриан, Ламартин, Гюго, Новалис) начинают борьбу за свободное «я» художника, против суммы бесполезных рецептов, которой предстает для них риторика. Стихотворная строчка Виктора Гюго *Война риторике, мир синтаксису, дету!* становится своего рода девизом эпохи: законной признается лишь грамматическая, но ни в коем случае не риторическая регламентация текста.

Если попытаться кратко сформулировать основную идею и в то же время сверхзадачу риторики, которую ставили перед ней греки, то получится, видимо, так: человек может менять порядок вещей с помощью одной лишь речи, не прибегая к невербальному действию. И речь идет не о магическом действии слова — оно есть во всех архаичных (и не только) культурах, не о том, когда словесное действие является чудом и волшебством, а об обычной речи человека, которому никто на помощь не приходит и который действует на свой страх и риск. С приходом в культуру риторики для европейца открывается мир захватывающего, отчаянного приключения, которое продолжается и сегодня.

Создана ли теория риторики древними греками в раз и навсегда завершенном виде? Осталось ли нам лишь делать заметки на ее полях — пусть порой обширные, подробные, но тем не менее ничего принципиально нового не прибавляющие к исходному тексту? Ставит ли сегодня риторика какие-то задачи перед исследователем, помимо ее аккуратного, грамотного, комментированного изложения? И если да, то в чем эти задачи должны состоять? Надлежит ли двигаться дальше, отталкиваясь от греко-римской риторики как от исходной точки, или же следует создать принципиально новую, *современную риторику*? И если мы снова ответим «да», то каково будет место этой новой риторики в отношении риторики старой: она заменит ее как некоторого рода *донаучную стадию*, или же будет сосуществовать с нею, не отменяя?

В общем, все эти вопросы можно заменить одним: *что такое современная риторика?*

Какую из наук узнал бы древний грек, проснись он сегодня? Математика изменилась до неузнаваемости; физика вообще превратилась в совершенно другую науку; поэтика заговорила на новом языке; даже логика уже не та, какой ее знали со времен Аристотеля и стоиков. И только риторика явилась бы греку открытой книгой.

За свою долгую историю риторика пережила не один кризис — и внешний, и внутренний. Слухи о ее смерти распространялись так часто, что уже стали походять на информационный шум. Она сдавала позиции и пыталась завоевать новые. С успехом и без.

Она превращалась в бранное слово.

Она растворялась среди новых дисциплин, молодых, энергичных, современных, перед которыми, казалось, ей не устоять в ее ветхих одеждах и с устаревшим арсеналом оружия. Новые науки поглощали риторику как целиком, так и частями: что-то досталось лингвистике текста, что-то семантике, что-то социолингвистике, что-то теории дискурса. Да и психолингвистика ушла с этой раздачи не с пустыми руками.

И всё-таки риторика уцелела.

Оказалось, что новые науки не убили и не отменили ее, как неэвклидова геометрия не убила эвклидову.

Древняя риторика и современная лингвистика, долго бывшие параллельными прямыми, всё-таки пересеклись. В точке их пересечения открылись новые исследовательские перспективы для обеих наук — и старой, и новой.

Рекомендуемая литература

Лучшей работой на русском языке, дающей общее представление о сути и специфике классической риторики, является [Аверинцев 1996], особенно главы *Античная риторика и судьбы европейского рационализма* (с. 114—145) и *Риторика как подход к обобщению действительности* (с. 157—190). Весьма полезной может оказаться вводная глава из [Лахманн 2001] *Введение: риторика и ее концептуализация* (с. 5—21). Подробнее о лингвистических взглядах античных мыслителей можно прочитать в [ИЛУ 1980]. Читающие по-английски могут обратиться к главам 1—3 из [Kennedy 1999].

ГЛАВА 2. КЛАССИЧЕСКАЯ РИТОРИКА: НОРМАТИВНАЯ МОДЕЛЬ

Классическая риторика была сосредоточена на выработке системы правил, по которым можно построить эффективную речь, т. е. представляла собою в первую очередь *нормативную модель* риторики. Это было главной и основной ее задачей, поскольку как одна из τέχνη риторика по умолчанию предполагала практическую пользу и не могла ограничиться областью теоретического исследования. Между тем одновременно с этой задачей у риторики — когда-то имплицитно, когда-то даже вполне эксплицитно — существовала и другая задача: определение поля своей деятельности, отделение того, что безусловно относится к риторике, от того, что по определению риторикой не является.

Греко-римская теория риторики представляет собою главным образом *систему правил*, соблюдение которых фактически гарантирует адресанту коммуникативный успех.

Античная теория риторики выделяла три источника красноречия и три его цели. К источникам относились *природный дар* (natura), *обучение* (ars) и *упражнение* (exercitatio). Со временем к ним добавился еще и четвертый источник (который, впрочем, чаще трактовался как подвид *обучения* или *упражнения*) — *подражание* (imitatio). Таким образом, в риторическом обучении наряду с *риторикой правил* появляется и *риторика образца*¹. Выделялись также три цели красноречия: *убедить* (docere), *взволновать* (movere) и *усладить* (delectare).

Родов красноречия в классической риторической модели было тоже три: судебное² (δικανικὸν γένος, genus iudiciale), совещательное, или политическое (συμβουλευτικόν, genus deliberativum), эпидейктическое, или торжественное (ἐπίδεικτικὸν γένος, genus demonstrativum). Таким образом, в поле риторики входили все виды *устной публичной речи*, существовавшие в Древней Греции. Публичные речи делились на шесть жанров, по паре в каждом роде красноречия: к эпидейктическому роду принадлежали хвалебные и порицательные речи, к

судебному — обвинительные и защитительные, к совещательному — убеждающие и разубеждающие.

Из этих трех видов красноречия эпидейктическое с точки зрения теории риторики и оттачивания риторического навыка кажется самым интересным. Эпидейктическая речь — это своего рода лаборатория риторики. Если у политического и судебного оратора была конкретная цель — убедить аудиторию в том, в чем он хочет и/или должен ее убедить, то у эпидейктического оратора не было прагматической цели, его внимание было сфокусировано на другом: убедить слушателей в том, что его речь хороша — и только. Этот оратор ни к чему не призывал, ни в чем не (раз)убеждал — он лишь демонстрировал свое мастерство произносить публичные речи. Никакой задачи, лежащей за пределами речи, *вне* ее у автора эпидейксиса нет и быть, вообще говоря, не может — это искусство для искусства, *τέχνη* для *τέχνη*, речь для самой речи. Ю. А. Шичалин определил эпидейксис как «речи, не имеющие никакого смысла *вне школы*, т. е. вне досужего времяпрепровождения в кружке знатоков и ценителей красноречия как такового, независимо от его практического применения» [Шичалин 2000: 109] (Курсив Шичалина. — Э. К.). Именно в эпидейктическом роде красноречия происходит оттачивание мастерства — *τέχνη* — ритора, именно здесь он проходит дисциплинарную выучку. Ср. начало трактата греческого ритора 2-й пол. III в. н. э. Менандра Лаодикейского «О торжественном красноречии»:

Вся риторика разделяется на три части, или вида, или, лучше сказать, на речи судебные, о делах общественных, государственных и частных; далее речи о делах в народных собраниях и советах; в-третьих, речи торжественные, которые называются похвалами или порицаниями. Кто хочет обучать правильно, тому нужно заступиться за тех, кто сразу берется за этот третий род [Античная поэтика 1991: 168].

Важно, что эпидейксисом считалась отнюдь не любая речь, произнесенная в торжественной обстановке, но лишь та, которая жанрово к нему принадлежала: так наз. «порицание» или «похвала» — *энкомий*³. Энкомий подвергался весьма дробному членению — выделялись похвалы в честь богов, в честь смертных, в честь неодушевленных, в честь стран, в честь городов, в честь крылатых и т. д.

Эпидейксис — это своего рода *показательное выступление* оратора, красноречие в чистом виде, почти не зависящее от предмета речи, по крайней мере никак не ограниченное им.

Прежде всего заметим, что *epideixis* в самом общем значении — это традиционное имя софистического *one man show*: по оппозиции с диалогом вопросов и ответов, характерным для сократической диалектики, термин *epideixis* систематически употребляется Платоном для обозначения публичной речи, произнесенной Продиком, Гипшием или Горгием во время наезда кого-нибудь из них в Афины. Лучшим переводом *epideixis* в таком случае будет «выступление», «доклад», а точнее всего — *lecture* в англосаксонском смысле слова, ибо софист, зачастую приехавший с Сицилии или из Великой Греции, по сути дела путешествует с лекционными турами за границей, то есть в великих греческих городах, в Афинах и Спарте, как знаменитые американские профессора пересекают Атлантику, чтобы повергнуть в изумление старую Европу [Кассен 2000: 76—77].

Именно эпидейктическое красноречие было тем жанром, на котором оттачивались навыки ученика. Типичным упражнением в древнегреческих риторических школах были так называемые *двойные речи*: ученику давали задание про один и то же предмет написать две речи — одну похвальную, другую ругательную⁴. Задание считалось выполненным лишь тогда, когда учитель не мог установить истинную точку зрения ученика, не мог понять, каково его настоящее отношение к предмету речи. Предмет для подобных упражнений выбирался самый ничтожный — например, треснувший старый лекиф или еще что-нибудь в этом роде. Смысл такого выбора заключался в том, что подобный предмет не содержит в самом себе никакого материала для речи: хвалить его не за что, а ругать и подавно. Ученик должен был овладеть навыком делать речи в прямом смысле слова *из ничего*. Единственное, что у него было — это язык, используя все возможности которого, он и должен был научиться составлять прекрасные речи. Увеличение доли эпидейктического красноречия среди прочих риторических жанров повлекло за собой расцвет теоретических предписаний относительно создания *хорошей речи*. Это было вызвано тем,

что в эпидейксисе внимание оратора сосредоточено не на предмете речи, а на ее внешней форме — это заставляло относиться к приемам создания речи с особо пристальным интересом. С другой стороны, эпидейктическое красноречие сыграло в судьбе риторики едва ли не роковую роль: постепенно вся риторическая теория сосредоточилась лишь на украшении речи, упустив из внимания всё остальное, что составляло неразрывную ткань риторики.

Весь процесс создания речи — от замысла до публичного прознесения — описывается традиционной пятичастной схемой, принявшей окончательный вид на рубеже I—II вв. н. э.: *нахождение*, т. е. поиск аргументов (*inventio*); *расположение* (*dispositio*); *элокуция*, процесс текстообразования (*elocutio*); *запоминание* (*memoria*); *произнесение* (*pronunciatio, actio*).

На этапе *inventio* определялся общий замысел речи, ее тема (если она не была задана оратору заранее), находились аргументы, с помощью которых оратор будет убеждать аудиторию. Инвенция — это систематизация материала, сведение многообразия к общим типам, выделение пункта доказательства, указание логических аргументов. Ломоносов в «Краткой риторике» дает такое определение инвенции: «Собрание разных идей, пристойных к предложенной материи, о которой ритор писать или говорить хочет». При выборе аргументов следовало заботиться не об их количестве, а об их качестве. Система *нахождения* была подробно разработана в эпоху эллинизма оратором и теоретиком риторики Гермагором из Темны (II в. до н. э.) в не дошедшем до нас сочинении «Искусство красноречия».

Второй этап — *dispositio* — предполагал построение структуры речи, ее композицию, выстраивание аргументов. Задача диспозиции⁵ — дать оратору стандартные представления о составе и порядке следования частей ораторской речи. В основе разделения ораторской речи на части лежал функциональный принцип: у каждой из частей была своя роль в развитии основного предмета речи. У вспомогательных частей — вступления, заключения, отступления — была вторичная по отношению к основным частям функция. Они были как бы рамой, в которую вставлялась картина речи: чем лучше подобрана рама, тем выгоднее будет смотреться картина. Общая схема построения речи была разработана еще софистами: вступление (*exordium*), изложение (*narratio*), разработка (*tractatio*), заключение (*conclusio*). Иногда разработка делилась в свою очередь еще на две части — опре-

деление темы (*propositio*) и доказательства (*argumentatio*). Сама идея *расположения* была исключительно греческим изобретением. Например, в Индии и Китае при регламентации публичных речей кодификации подвергалась не структура речи, а почти исключительно ее тематика [Гиндин 1998: 361]. У индийцев и китайцев не было канона вступления к речи, не было канона ее заключительной части, был лишь канон полного текста, речи целиком. В этих двух подходах к кодификации риторического текста заключена весьма принципиальная разница. При кодификации целой речи число возможных риторических текстов пусть велико, но конечно, поскольку ограничено числом существующих образцов (а написание речи в таком случае есть не столько создание нового текста, сколько воспроизведение имеющейся модели). В греческой риторике, где кодифицированы части, а не речь целиком, число текстов потенциально бесконечно [Гиндин 1998: 361]. Таким образом, если восточная риторика предоставляла готовые модели, то греческая предлагала, так сказать, конструктор, из которого самому можно собрать самые разные модели по своему желанию и необходимости.

Как предлагалось располагать аргументы? Разумеется, если речь идет о продуманном расположении, в основании этого расположения должен лежать некоторый критерий, т. е. аргументы должны выстраиваться в виде иерархии, по которой можно двигаться как вверх, так и вниз. Поскольку мы готовим *эффективную* речь и наша задача — убедить слушателя, самым разумным критерием оказывается критерий силы / слабости аргумента. Вот тут возникает первая сложность, точнее — первая нетривиальная задача. Как определить, какой аргумент будет сильным, какой слабым? А из сильных — какой сильнее? В риторике сила / слабость аргумента — не объективная, а субъективная категория. Сильным будет тот аргумент, который слушающим будет *казаться* сильным, т. е. будет *воспринят* как сильный. Логическая бинарная оппозиция правильного / неправильного аргумента в риторике осложняется третьей категорией — категорией *правдоподобия*. Сильный аргумент — тот, который наиболее правдоподобен. Слабый — наименее правдоподобный. В оценке силы / слабости аргумента оратор должен был опираться не на свое восприятие, а на аудиторию — реальную или гипотетическую — перед которой он будет говорить. Если оратор хорошо знаком с аудиторией, этот вопрос решается относительно просто (хотя и тут никто не застрахован от

ошибки). А если не знаком? Если об этой аудитории у него совсем нет или слишком мало исходных данных? Каким образом строить вероятностный прогноз относительно силы / слабости аргументов? Точнее, о том, как эти аргументы будут восприняты аудиторией с точки зрения силы / слабости? Единственно возможный выход в этой ситуации — попытаться *сконструировать* свою аудиторию, представить, кто именно является целевой аудиторией оратора, с кем ему предстоит говорить. Исходя из этой гипотезы и следует оценивать аргументы по шкале сильный — слабый. Представим, что эта работа проделана и у оратора есть семь аргументов: три сильных, три слабых, один очень сильный. Как их следует располагать? Греки считали оптимальным так называемый *гомеров порядок* расположения аргументов (название условное, к Гомеру никакого отношения не имеет): сначала — сильные аргументы, потом — слабые, в конце — один самый сильный. В основе такого принципа расположения аргументов лежали следующие соображения: нельзя начинать со слабых аргументов и двигаться по нарастающей, потому что, когда оратор доберется наконец-то до сильных аргументов, аудитория успеет его благополучно забраксовать; нельзя чередовать сильные и слабые, потому что эта синусоида будет только снижать градус убедительности, не давая ему подняться; нельзя начинать с сильных, а заканчивать слабыми, потому что лучше всего запоминается финал речи. Стало быть, сильные — слабые — самый сильный оказывается наиболее приемлемым принципом расположения аргументов. Аргументы делились на внешние (*πίστεῖς ἄτεχνοι*) и внутренние (*πίστεῖς ἐντεχνοί*). Внешние аргументы — это факты, показания свидетелей, документы, улики. Внутренние — те, которые нельзя предъявить, а нужно доказать логически. Именно умение пользоваться внутренними аргументами и составляло подлинное мастерство оратора.

Прекрасно, аргументы расположены. Но речи у нас пока что еще нет — есть лишь ее развернутый план, исходя из которого предстоит написать сам текст. И тут мы переходим к третьему этапу — *элокуции*, т. е. собственно процессу текстообразования. Элокуция состоит в выборе языковых единиц (в основном лексических, хотя и не только) для выражения как общего замысла речи, так и отдельных ее тезисов. Выбор не означает лишь простого подыскивания удачных и уместных слов и словосочетаний — задача в том, чтобы максимально эффективно соединить между собой эти единицы. К элокуции классическая

греко-римская риторика предъявляла четыре требования: уместность (πρέπον, decorum), ясность (σαφήνεια, plana elocutio), правильность (ἑλληνισμός, latinitas), украшенность (κατασκευή, ornatus). Эти классические требования восходят к ученику Аристотеля Теофрасту. Стоики предлагали еще требование краткости, но оно не укоренилось в классической теории риторики⁶.

Уместность предполагала соответствие речи нескольким экстралингвистическим факторам: теме речи, типу аудитории, ситуации, в которой эта речь произносится, образу самого оратора, даже тому помещению, в котором эта речь будет произноситься (например, в маленьком замкнутом помещении перед небольшой аудиторией речь заведомо должна быть более камерной).

Требование ясности предполагало отсутствие затруднений при восприятии речи слушателем. В области лексики в фокусе внимания оказывались определенные ее пласты — например, профессиональные термины в непрофессиональной аудитории; устаревшая лексика; новые, еще не вполне освоенные языком заимствования; жаргонные единицы и т. п. В области синтаксиса под запрет попало слишком глубокое ветвление синтаксического дерева, т. е. попросту говоря — слишком сложные синтаксические конструкции с большим количеством придаточных предложений, оказывающиеся ребусом, который слушателю предлагается разгадать. И на лексическом, и на синтаксическом уровне под запрет попадала омонимия, которая не снималась контекстом⁷.

Требование правильности обязывало оратора говорить на *чистом* языке, т. е. в современной терминологии следовать правилам литературного языка. Это требование весьма лукавое и непростое: на пути следования нормам *литературного языка* подстерегает множество сложностей. Грекам и римлянам они еще не были известны, потому что, строго говоря, самого понятия литературного языка тогда не существовало. Однако с точки зрения современной лингвистики тут далеко не всё так просто и однозначно. Само понятие *языковой нормы* формировалось в классическую эпоху в рамках риторики в соответствии с представлением о стилистической дифференциации языка. В латинскую эпоху были выделены три стиля — *urbanitas*, *rusticitas* и *peregrinitas*. В основе этой стилевой дифференциации лежало как раз понятие о правильности, т. е. о языковой норме. *Urbanitas*, как следует из его названия, — это язык, на котором говорит Рим, язык наиболее

чистый и правильный. Если немного удалиться от Рима в его окрестности, попадаешь в зону распространения *rusticitas* — это язык близких к Риму поселений, уже не такой правильный и чистый, как язык Города. А еще дальше от центра — *peregrinitas*, это уже та периферия латыни, которая плохо держится центром: отступлений от нормы и чистоты римской латыни тут уже довольно много.

На риторическое требование *recte dicendi* — *правильной речи* — можно взглянуть с самых разных точек зрения. Например, с точки зрения нормативности. История риторики и античная теория риторики недвусмысленно говорят о том, что отцам-основателям отнюдь не был чужд такой подход (достаточно вспомнить хотя бы нормотворческие эзерсисы Протагора). Если мы посмотрим на *recte*-речь с точки зрения одной лишь нормативности, мы довольно легко сконструируем для нее образец: это будет речь, соответствующая всем нормам языка. Но с той же легкостью мы спрогнозируем и очевидную недостижимость этого идеала: отклонения от нормативных прескрипций мы сплошь и рядом будем обнаруживать у самых образованных, самых интеллигентных, в высшей степени наделенных врожденным *языковым слухом* носителей языка. Даже самая лучшая речь будет слишком отличаться от *эйдоса* (в платоновском смысле) нормативной *recte*-речи. А это значит, что перед риторикой встает вопрос об определении «границ допустимого» в этих отклонениях, в искажениях *эйдоса recte*-речи. Как эти границы определить: задать списком допустимые погрешности? дать их типологию? подсчитать их допустимый процент, при превышении которого речь покидает область *recte*? Для риторики как нормативной — по преимуществу и в первую очередь — науки эти вопросы не являются ни праздными, ни тем более схоластическими.

Если мы будем исходить из определения риторики как *науки об эффективной речи*, все эти вопросы еще более усложнятся, поскольку окажется, что правильность речи ни в какой степени не является синонимом ее эффективности; что соблюдение норм само по себе отнюдь не гарантирует успех оратора и/или высокую оценку текста; что безукоризненное владение литературным языком отнюдь не есть главное достоинство ратора, etc.

И вообще: употребляя термин *recte*, имели ли в виду древние риторы то же самое, что имеет в виду сегодняшний лингвист, произнося слово *норма*?⁸ Очевидно, ответ на этот вопрос будет отрицатель-

ным, ведь под *recte* подразумевается так называемая *риторическая правильность*, которая включает в себя, конечно, и норму, но не только ее. Это будет «норма плюс» — и вот с формализацией этого плюса как раз и возникают наибольшие сложности. Самым, видимо, простым решением задачи будет определение *recte* как *нормативной речи, построенной в соответствии со всеми правилами и требованиями риторики*. Не меньше, но и не больше.

И последнее требование — требование украшенности. Это своего рода краеугольный камень риторики и ее нерв.

Проблема украшенности текста становится постепенно настолько центральной, что с течением времени оказывается фактически единственным разделом теории риторики. Риторика превращается в учение о тропах и фигурах, т. е. как раз о тех языковых средствах, с помощью которых украшается текст. Тут встает нешуточная проблема — а что именно означает украшенность? Насколько обильно должен быть украшен текст? Где границы, которые в ту и другую сторону нельзя перейти? Каждая локальная культура в определенную эпоху имеет некоторый усредненный идеал красоты речи, вокруг которого возможны частные отклонения. В Древней Греции последовательно сменили друг друга *азианское* (III в. до н. э.) и *аттическое* (II в. до н. э.) красноречие — две диаметрально противоположных стратегии украшения текста. Азианское красноречие исходило из того, что по-настоящему украшен лишь тот текст, который максимально насыщен всевозможными фигурами речи, сложными, причудливыми, необычными. Аттическое же красноречие, напротив, в качестве идеала украшенной речи провозглашало речь простую, с минимумом приемов, сделанную с помощью самых простых, даже обыденных языковых средств. Полемика о красоте речи, заданная этой парадигмой, длилась — пожалуй, и по сей день длится — чрезвычайно долго. Цицерон, комментируя эту полемику, прибегал к метафоре женской красоты: какую женщину мы считаем по-настоящему красивой — ту, которая обильно украсилась, не жалея на это ни средств, ни времени, ни сил, или же ту, которая красива естественной природной красотой, не требующей почти никаких дополнительных средств, по крайней мере, эти средства использованы скупой, лишь чтобы оттенить и подчеркнуть то, что дано природой?

Особое место в античной теории риторики принадлежит учению о *фигурах* — тех лексических и синтаксических единицах языка,

которые делают текст культивированным и выделяют его из потока естественной речи. Термина для этих единиц в античной риторике, строго говоря, не было: по-гречески они назывались *σχηματα*, т. е. ‘обороты’, а буквально — ‘позы’, т. е. те положения, которые принимает человеческое тело, отклоняясь от естественности; по-латыни *lumina*, ‘блестки’. Фигуры в тексте словно позы актера на сцене: как в спектакле продумана каждая мизансцена, так и в речи должен быть продуман каждый ее оборот. Можно сказать, что фигура возникает одновременно с риторикой — в своей знаменитой речи в Афинах Горгий, родоначальник риторики, впервые использовал фигуры (параллелизм, антитезу и созвучие окончаний — знаменитые впоследствии *горгианские фигуры*), хотя никакого учения о фигурах еще и в помине не было. В эпоху Античности наиболее полное определение фигуры дал Квинтилиан:

Фигура определяется двояко: во-первых, как и всякая форма, в которой выражена мысль, во-вторых, фигура в точном смысле слова определяется как сознательное отклонение в мысли или в выражении от обыденной и простой формы [...] Таким образом, будем считать фигурой обновление формы речи при помощи некоего искусства (Риторические наставления, IX, 1).

Как видим, определение предельно общее, чтобы не сказать расплывчатое: под *обновление формы речи при помощи некоего искусства* подпадает совершенно любая операция с текстом. Всё многообразие таких операций надо было как-то систематизировать, упорядочить — т. е. создать тот рабочий инструментарий, которым сможет пользоваться ритор. По мере увеличения числа фигур, известных риторам, задача упорядочения вставала всё более остро. Постепенно список фигур дробится, разветвляется и, в конечном счете, вообще перестает быть системой. Складывается огромный перечень всех известных фигур, столь громоздкий, что с ним уже почти невозможно работать. Внутри фигур античная теория риторики выделила в отдельный класс *тропы* (от древнегреческого *τρόπος* — ‘оборот’) — отдельные слова, употребленные отличным от обыденного способом. Хотя термином *тропы* пользовались еще греческие теоретики риторики, в значении, наиболее близком к современному, термин употребляется в римской риторике, им, в частности, весьма активно пользуется Квинтилиан в

«Наставлениях оратору». Здесь же он дает одно из первых определений тропа: *Tropos est verbi vel sermonis a propria significatione in aliam con virtute mutatio* (VI, 6, I), т. е. *троп — это великопепное изменение собственного значения слова или выражения на другое*.

Фигура⁹ — это любой оборот речи, любое выражение, отступающее от разговорной естественности; троп — частный случай фигуры: слово в переносном значении или просто употребленное необычным образом. Фигура возникает там же, где ошибка: поскольку и то, и другое — отклонение от нормы. Так же, как в логике: паралогизмы — невольные ошибки, софизмы — сознательные приемы.

Фигуры делились на два больших класса — *фигуры мысли* (которые не менялись от пересказа другими словами: риторический вопрос, риторическое обращение, восклицание, умолчание и др.) и *фигуры слова* (которые от пересказа другими словами менялись). Такое разделение ввел Деметрий Фалерский в трактате «О риторике». Внутри этих больших классов фигуры делились на виды и подвиды. Тропы входили в класс фигур слова и принадлежали к так называемым *фигурам переосмысления*. Однако эта классификация не слишком способствовала тому, чтобы теория фигур превратилась в компактный и удобный инструмент: количество фигур продолжало неуклонно увеличиваться. В «Риторике к Гереннию», латинском риторическом учебнике неизвестного автора, различается около семидесяти фигур. К эпохе Средневековья номенклатура фигур включала уже свыше двухсот единиц.

Элокуция подразделялась на три части: *отбор слов, сочетание слов и фигуры*.

При отборе слов в основном фокусе внимания оказывалось требование ясности. Некоторыми участками лексической системы языка надлежало пользоваться с особой аккуратностью. Это прежде всего устаревшая лексика, неологизмы и слова с переносным значением¹⁰. Риторическая теория не ставила эти слова под запрет, предполагалось лишь следование двум несложным правилам: такого рода лексические единицы должны использоваться умеренно и их значение должно проясняться контекстом. Требование правильности накладывало куда более строгие ограничения на использование слов диалектных (принадлежащих *peregrinitas*) и просторечных (принадлежащих *rusticitas*): речь оратора должна была оставаться в рамках *urbanitas*.

Сочетание слов кодифицировало синтаксическую структуру текста. Особое внимание при этом уделялось соразмерности син-

таксических отрезков и ритмике текста. Выделялись синтаксические структуры трех типов: отрезок (*κόμμα, incisum*), член (*κῶλον, membrum*) и период (*περίοδος, comprehensio*)¹¹. Отрезок представлял собой самую короткую структуру, период — самую длинную. Соответственно члены состояли из отрезков, периоды — из членов. Требования ясности и украшенности запрещали строить периоды больше чем из четырех членов.

В современной терминологии отрезку соответствует *группа* (*маленький мальчик*), члену — *клауза* (*маленький мальчик гладит щенка*), периоду — *предложение* (*маленький мальчик гладит щенка, которого подарил ему папа*). Таким образом, оптимальными с риторической точки зрения считались предложения, в состав которых входит не более четырех клауз. Стало быть, в нашем примере мы можем добавить еще две клаузы, не нарушая требования ясности: (1) *маленький мальчик гладит щенка, которого подарил ему папа, узнав о том, что сын хочет собаку*.

Язык обладает свойством рекурсивности, т. е. дает возможность добавлять в предложение неограниченное количество клауз:

(2) *Девочка видит, что маленький мальчик гладит щенка, которого подарил ему папа, узнав о том, что сын хочет собаку*.

(3) *Бабушка знает, что девочка видит, что маленький мальчик гладит щенка, которого подарил ему папа, узнав о том, что сын хочет собаку*.

(4) *Внук думает, что бабушка знает, что девочка видит, что маленький мальчик гладит щенка, которого подарил ему папа, узнав о том, что сын хочет собаку*.

Требование ясности легко пропускает предложение (1) и запрещает предложения (2—4) из-за их перегруженности вложенными клаузами. Это было значительным синтаксическим открытием античных теоретиков риторики: ограничивать следует не количество слов в предложении, а количество его структурных составляющих (групп и клауз). Предложение (2) длиннее предложения (1) всего на два слова. Попробуем прибавить к (1) два слова, которые не создадут новую группу или клаузу:

(5) *Маленький худенький мальчик гладит рыжего щенка, которого подарил ему папа, узнав о том, что сын хочет собаку*.

Как видим, (5), в отличие от (2), не нарушает правила «не более четырех клауз», хотя добавлено то же количество слов¹².

Стратегия, которую выбирал автор на этапе элокуции, была непосредственно связана с понятием *стиля*. Чем больше текст культивировался на всех трех уровнях — отбор слов, сочетание слов, фигуры — тем выше поднимался стиль по иерархической шкале. Стилей различали три — высокий, средний, простой¹³ — и выбор между ними определялся требованием уместности. Высоким стилем (*genus grande, sublime*) писались самые культивированные и максимально отдаленные от разговорной естественности речи; простым (*genus tenue, subtile*) — речи, ближе всего стоящие к естественной речи; средний стиль (*genus medium*) занимал промежуточное положение: не такой культивированный, как высокий, но и не такой естественный, как простой. Интуиции о стилистической дифференциации речи встречаются уже у софистов, однако само учение о стилях было разработано в эпоху эллинизма. Образцом высокого стиля считался Демосфен, среднего — Деметрий Фалерский, простого — Лисий.

Когда все требования к элокуции соблюдены и текст речи написан, оратор в своей подготовке речи переходил к четвертому этапу — *мемории*, запоминанию речи. Для того чтобы запомнить более или менее длинную речь, древние греки использовали так называемые мнемонические комнаты¹⁴: речь уподоблялась длинной анфиладе комнат, в каждой из которых были расставлены предметы. Каждой комнате соответствовал определенный раздел речи, с каждым предметом связывались те или иные ее фрагменты. Обходя мысленным взором эти комнаты, греческий оратор припоминал речь: вот первая комната, это вступление, вот перешли во вторую — это основная часть — тут стоит статуя, с ней связан такой-то аргумент или такой-то оборот и т. д.

Последний этап — это *произнесение* и *акция*. На этом этапе кодифицировалось само исполнение речи. Своего рода генеральная репетиция выступления оратора. Очень важный этап подготовки — ведь отлично написанную речь можно напрочь испортить дурным исполнением, и напротив — речь довольно среднюю превосходным исполнением поднять на высокий уровень. *Произнесение* отвечало собственно за процесс говорения: в каком темпе говорить, насколько громко, как использовать повышение / понижение тона, где стоит ускориться, где, наоборот, помедлить, где сделать паузу и сколько ее держать. *Акция* отвечала за манеру оратора держаться перед аудиторией: кодифицировались позы, жесты, их характер и частота. Труднее всего греческому

оратору давалось то, чему мы сегодня, возможно, и вовсе не придаем особого значения, — выражение лица оратора. Дело в том, что для исполнения речи у древнегреческого оратора был образец, на который он опирался — актерское искусство¹⁵, уже достигшее к этому времени в Греции высочайшего развития. У актера оратор мог научиться произнесению речи (сценическая речь как образцовая модель), позам, жестам, манере держаться перед публикой. А вот мимике оратору научиться было не у кого — древнегреческий актер играл в маске, ему не было нужды следить за лицом. Мимику ораторам приходилось вырабатывать самостоятельно.

Понятно, что хорошая речь могла получиться в идеале лишь в том случае, если ни на одном из этапов подготовки оратором не было допущено существенных ошибок: найдены хорошие аргументы; прекрасно расположены, архитектура речи выстроена; текст отлично написан, он уместен, ясен, правилен и украшен; оратор хорошо держит эту речь в памяти и умеет великолепно исполнить перед аудиторией.

Таким образом, процесс подготовки речи можно представить в виде очень простого алгоритма: найди аргументы — продумай их порядок — напиши текст — запомни его — произнеси речь. Вот, собственно, и всё. Этими общими предписаниями в целом ограничивается классическая пятичастная риторика. Дело остается лишь за тем, чтобы наполнить эти части конкретным смыслом. На это ушли века теории риторики, со всеми взлетами и провалами. Процесс построения общей теории риторики до сих пор не завершен.

Рекомендуемая литература

Полное представление об античной теории риторики дает статья [Гаспаров 2000]. Желаящему обратиться к первоисточникам можно порекомендовать сборник [Античные риторики 1978] с прекрасной вступительной статьей А. Ф. Лосева и переводами трактатов Аристотеля, Дионисия Галикарнасского и Деметрия. Комментированный перевод С. С. Аверинцева III книги «Риторики» Аристотеля опубликован в [Аверинцев 1996]. Читающим по-французски я рекомендую статью Ролана Барта «Античная риторика: памятка» [Barthes 1970].

ГЛАВА 3. НЕОРИТОРИКА: ДЕСКРИПТИВНАЯ МОДЕЛЬ

В античную эпоху риторика прочно укоренилась в образовательной системе. В 73 г. Веспасиан выделил из государственной казны средства на оплату греческих риториков. Первым латинским ритором, получившим государственное жалованье, стал Квинтилиан. Начиная со II в. н. э. во многих греческих городах открываются частные школы риторики и грамматики, в которых глубокое изучение грамматики было необходимой пропедевтикой к изучению риторики¹. Софист Гиппий, один из первых теоретиков риторики, был основоположником системы обучения, основанной на так называемых *artes liberales* — свободных искусствах, хотя само название появилось лишь в Древнем Риме: *artes liberales* противопоставлялись занятиям, требующим физических усилий, *artes mechanicae*. Вторыми могли заниматься и рабы, но первые были привилегией лишь свободного человека — отсюда и название. Идея о необходимости обязательного образовательного цикла в V в. была систематизирована латинским философом и ритором Марцианом Капеллой в сочинении «О бракосочетании Филологии и Меркурия». Этот текст представляет собою аллегорическое изображение семи свободных искусств. Пятая книга посвящена риторике, представленной в образе высокой красивой женщины: платье ее украшено всеми фигурами речи, а в руках — оружие, которым она поражает своих оппонентов. Источником для V книги (*De rhetorica*) были для Марциана Капеллы риторические трактаты Цицерона. В *artes liberales* входили два цикла, т. е. два уровня обучения: *тривиум*, к которому относились грамматика, риторика и диалектика, и *квадривиум*, состоящий из арифметики, геометрии, астрономии и музыки. Таким образом риторика вошла в своего рода образовательный стандарт, который почти в неизменном виде просуществовал в Европе вплоть до XIII в².

Благодаря включенности в систему образования, риторика пережила века, однако после Античности вплоть до XX в. пребывала

фактически в законсервированном состоянии. При этом в упадке на протяжении нескольких веков находилась как риторическая теория, так и риторическая практика. Практика свой первый кризис — затяжной и тяжелый — пережила в эпоху Средневековья, когда публичное говорение покинуло культуру, и у риторики не стало ни мощных заказчиков, какими были в Древней Греции политическая и судебная система, ни богатой ораторской практики и традиции публичного говорения. В Средние века продолжалось школьное изучение риторики, однако это уже не было овладением практикой живого слова, как в эпоху Античности: грек, а потом римлянин осваивали навык владения речью на своих родных языках, а ученик средневековой школы — на неродной для него латыни (самыми популярными учебниками риторики были «О нахождении» Цицерона и анонимная «Риторика к Гереннию»).

В Средние века были лишь два речевых жанра, которые требовали риторического навыка (точнее было бы сказать — *навыка, подобного риторическому*, поскольку сама суть риторики изменилась очень сильно): церковная проповедь и написание писем. Проповеди в монастырях, университетах и школах произносились на латыни, лишь для мирян на приходах священник переходил на народный язык. Искусство проповеди — гомилетика — вплоть до XIII в. развивалось довольно стихийно, лишь в XIII—XIV вв. появляются первые учебники по поставлению проповедей — *ars praedicandi*³ [Гаспаров 1986: 97].

В области теории риторики в Средние века тоже не появилось ничего нового: средневековые труды по риторике вторили античным, как правило, латинским. Вот, например, как описывает содержание риторики Алкуин, ученый, богослов и поэт VIII — нач. IX вв.:

Искусство риторики состоит из пяти разделов: нахождение материала, расположение его, изложение, запоминание, произнесение. Нахождение материала — это измышление обстоятельств дела, действительных или вероятных, придающих делу убедительность. Расположение материала — это последовательное распределение того, что найдено. Изложение — подыскание слов, подходящих к нахождению. Память — твердое закрепление в уме предметов и слов нахождения. Произнесение — это соразмерность голоса и движений тела со значением предме-

тов и слов дела. Итак, первое — найти, что сказать, второе — расположить найденное, третье — расположенное облечь в слова, и, наконец, самое важное — произнести то, что запомнил [Алкуин 1986: 192—193].

Начиная с эпохи Средневековья, описательные риторик преобладают над нормативными и все они опираются на латинские образцы. Новой теории риторик нет, и старая не претерпевает сколько-нибудь заметных изменений. Наиболее важным событием было издание в 1675 г. книги Бернара Лами «Риторика, или Искусство речи». Во Франции с середины XVI до середины XVII вв. вышло огромное количество риторик, однако эта книга Лами заняла среди них особое место. Лами не просто пишет традиционный учебник риторик в ряду других — он предпринимает попытку создать новую теорию языка и новую теорию риторик.

В России рецепция риторической теории начинается в XVII в. — в 1620 г. появляется рукописная риторика, являющаяся переводом «Риторик» Филиппа Меланхтона (1577). В этом переводе впервые на русском языке встречается само слово *риторика* [Аннушкин 1999: 6].

Важнейшим событием в русской риторике было появление двух трудов М. В. Ломоносова — «Краткого руководства к риторике» (1743) и «Краткого руководства к красноречию» (1748). Оба текста начинаются с вполне традиционного определения риторик:

Риторика есть наука о всякой предложенной материи красно говорить и писать, то есть оную избранными речми представлять и пристойными словами изображать на такой конец, чтобы слушателей и читателей о справедливости ее удовлетворить. [Ломоносов 1952а: 23]. Красноречие есть искусство о всякой данной материи красно говорить и тем самым преклонять других к своему об оной мнению. [...] К приобретению оног требуются пять следующих средств: первое — природные дарования, второе — наука, третье — подражание авторам, четвертое — упражнение в сочинении, пятое — знание других наук [Ломоносов 1952б: 91—92].

Ломоносов риторик (общее учение о красноречии) разделяет на ораторик — наставление к сочинению речей в прозе и поэзию —

наставление к сочинению поэтических текстов. Важнейшую роль для формирования русского литературного языка сыграло сформулированное Ломоносовым по-русски риторическое «учение о штилях» в работе «Предисловие о пользе книг церковных» (1758):

От рассудительного употребления и разбору [...] трех родов речений рождаются три штиля: высокий, посредственный и низкий. Первый составляется из речений славенороссийских, то есть употребительных в обоих наречиях, и из славенских, россиянам вразумительных и не весьма обветшалых. Сим штилем составлять должны героические поэмы, оды, прозаичные речи о важных материях, которым они от обыкновенной простоты к важному великолепию возвышаются. [...] Средний штиль состоять должен из речений, больше в российском языке употребительных, куда можно принять некоторые речения славенские, в высоком штиле употребительные, однако с великою осторожностью, чтобы слог не казался надутым. Равным образом употребить в нем можно низкие слова, однако остерегаться, чтобы не спуститься в подлость. Низкий штиль принимает речения третьего рода, то есть которых нет в славенском диалекте, смешивая со средними, а от славенских обще не употребительных вовсе удаляться по пристойности материй, каковы суть комедии, увеселительные эпиграммы, песни, в прозе дружеские письма, описание обыкновенных дел. Простонародные низкие слова могут иметь в них место по рассмотрению [Ломоносов 1952в: 589—590].

Роль ломоносовских трудов по риторике для русской культуры была огромна — Ломоносов привил риторический побег к дереву русской словесности, что оказало важное влияние не только на ораторское искусство и изящную словесность, но и на структуру национального языка. В целом же в области теории риторики Ломоносовым не было сделано ничего принципиально нового: в школе Заиконоспасского монастыря Ломоносов прошел хороший курс латыни и латинской риторики⁴, и его риторические сочинения вполне классичны и традиционны.

Когда мы говорим о появлении неориторики в XX в., необходимо постоянно иметь в виду несколько весьма существенных обстоя-

тельств. Среди них трудно выделить главные и второстепенные, поэтому порядок, в котором они дальше перечисляются, не иерархичен, а случаен. Во-первых, к XX в. риторика уже перестала быть частью образовательного стандарта европейца. Риторические штудии начинают люди, которые не прошли риторической выучки, и их сведения о риторике носят более или менее случайный характер. Во-вторых, публичная речь — основная область применения риторики — больше не обладает самостоятельной культурной ценностью, как это было в эпоху Античности. Эпидейкисис перестал существовать как отдельный род красноречия; уже невозможно представить себе, что кто-то соберет аудиторию, которая пришла лишь затем, чтобы насладиться ораторским искусством. В-третьих, изменилась коммуникативная структура европейского общества и появились новые речевые жанры, которых не знала или почти не знала Античность. Тут прежде всего следует заметить, что в область риторического уже прочно вошли письменные жанры, в частности, газетная и журнальная публицистика, хотя и не только она. В-четвертых, в XX в. у риторики появились науки-доноры: лингвистика, когнитивная наука (в частности, когнитивная психология) и семиотика. Риторика обрела возможность пользоваться их инструментарием, аппаратом и методологией исследования — и в то же время сама предоставлять ценные научные данные, полученные в своем предметном поле.

Всех этих факторов более чем достаточно, чтобы возрождение риторики в XX в. оказалось весьма и весьма нетривиальной задачей. Из поспешно-оптимистичного утверждения о том, что «теория риторики уже создана, и современным исследователям досталось лишь обширное поле интерпретации» [Безменова 1991: 12], исходит сегодня большинство авторов учебников по риторике: излагается классическая греко-римская риторика, а современности отводится роль иллюстративного материала⁵. Всё то, что было сделано в риторике начиная с так называемого *риторического ренессанса*, оказывается на положении схолий к греко-римскому риторическому тексту. При этом (что довольно парадоксально) задача современных книжек со словом «риторика» на обложке — не изложить и/или исследовать историю риторики, но научить сегодняшнего читателя *искусству красноречия*. И по умолчанию античная риторика полагается совершенно подходящим инструментом такого научения.

Итак, что же представляет собою современная риторика? Можно выделить несколько крупных направлений, которые в XX и XXI вв. продолжали и продолжают развивать риторическую проблематику.

Начнем с самого очевидного: тех направлений лингвистической, филологической и гуманитарной мысли, где непосредственно используется термин *риторика* и ученые, работающие в этих направлениях, эксплицируют свои исследования как риторические.

В XX в. первый ощутимый всплеск интереса к риторике приходится на конец 50-х гг. Появляются работы по риторической теории аргументации бельгийского философа и логика Хаима Перельмана (ему принадлежит и сам термин *новая риторика*). В 1958 г. во Франции выходит ставший впоследствии знаменитым «Трактат об аргументации: Новая риторика» Хаима Перельмана и Люси Олбрехт-Тытеки. Чуть позже — в 60-е гг. — публикуют свои работы по риторике Ролан Барт, Жерар Женетт, Цветан Тодоров, Умберто Эко и др.

В «Трактате об аргументации» Перельман и Олбрехт-Тытека манифестируют разрыв *новой риторики* с картезианской традицией рациональной аргументации, которая господствовала в западной философской мысли на протяжении трех столетий. Перельман ставит перед собой задачу возрождения традиций античной риторики и греческой диалектики. Свою *новую риторику* Перельман строит, оттачиваясь от аристотелевского определения:

Итак, определим риторику как способность находить возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета. Это не составляет задачи какого-нибудь другого искусства, потому что каждая наука может поучать и убеждать только относительно того, что принадлежит к ее области, как, например, врачебное искусство — относительно того, что способствует здоровью или ведет к болезни, геометрия — относительно возможных между величинами измерений, арифметика — относительно чисел; точно так же и остальные искусства и науки; риторика же, по-видимому, способна находить способы убеждения относительно каждого данного предмета, потому-то мы и говорим, что она не касается какого-нибудь частного, определенного круга предметов (Rhet., 1355b).

Проблему, существующую в современной теории аргументации, авторы «Новой риторики» видят в следующем. У нас есть рациональные, строго формализуемые аргументы с одной стороны и эмоциональные, никоим образом не формализуемые — с другой. Если

первые принципиально предполагают создание некоторой формальной модели аргументации, то вторые заведомо остаются за ее рамками. Таким образом, между двумя типами аргументации — рациональной и эмоциональной (т. е. иррациональной) — существует разрыв, который никак не преодолим. Между тем Перельман исходит из того, что категория *убедительности*, лежащая в основе риторики, не совпадает полностью ни с областью рационального, ни с областью иррационального. Категория убедительности лежит в области *рассудочного*. Характерным отличием рассудочной аргументации от рациональной является то, что она обращена к конкретному слушающему (читающему), полностью вписана в стандартную риторическую структуру *адресант — адресат*. Рациональная аргументация обращена ко всем и ни к кому конкретно. Высказывания типа *Все бесцветные зеленые идеи яростно спят, X — бесцветная зеленая идея, следовательно, X яростно спит* или *Число делится на 6 тогда и только тогда, когда оно делится на 2 и на 3* не зависят от адресата и его отношения к ним. Рассудочная аргументация обращена к конкретному адресату, адресант должен исходить из общего для него и адресата набора посылок, к которым относятся, в первую очередь, факты и ценностные предпочтения. Таким образом, базисный аргумент рациональной аргументации *ad rem* («к сути дела») заменяется аргументом *ad hominem* («к человеку»). Нельзя не заметить, что Перельман в области риторики легализует все те виды аргументов, которые числятся ошибками в классической логике: аргумент к здравому смыслу, к авторитету, к невежеству, к выгоде, к силе, к состраданию и т. п.

Перельман оказался фактически единственным представителем неориторики, которого интересовала проблема аргументации; остальные сплошь и рядом занимались проблемой фигур и тропов, т. е. украшенности речи.

В 1964 г. Жерар Женетт открыл на страницах журнала «Тель Кель» дискуссию о риторике и ее влиянии на язык. Одновременно Женетт подготовил переиздание риторического трактата Фонтанье «Фигуры речи». Выбор именно этого текста был симптоматичным: дело в том, что «новая риторика» отдавала предпочтение литературной риторике перед всеми другими ее формами и разновидностями, а трактат Фонтанье был обращен именно к литературе.

Две широко известные работы Жерара Женетта ([Женетт 1998а, 1998б]), посвященные риторике, касаются главным образом так назы-

ваемой *тропологии*, т. е. того раздела риторики, который занимается изучением тропов и фигур. В самом начале [Женетт 1998а] говорится:

В переписке Флобера можно найти загадку, которой, должно быть, забавлялись несколько поколений школяров в XVIII—XIX веках, а ныне она не имела бы шансов быть понятой ни в одном школьном классе: «Какой персонаж Мольера похож на риторическую фигуру? — Альцест, потому что он мизантроп [*mis en trope*]». Найдется ли сегодня дипломированный бакалавр, который знал бы, что такое троп? Современное литературное образование далеко отстоит от риторического образования, каким оно было всего лишь столетие назад, и нашей задачей здесь будет более точно измерить это расстояние и поставить вопрос о его значении [Женетт 1998а: 263].

Очень важной вехой в развитии новой риторики стал 1970 год. Тогда вышла работа риторического кружка Льежского университета (Бельгия) «Общая риторика» и была создана Льежская риторическая школа, так называемая Группа μ .

«Общую риторику» Группа μ предваряет следующим замечанием:

Несколько преподавателей Льежского университета, интересующихся изучением средств художественной выразительности, решили объединиться для совместной разработки актуальных ныне проблем, возникших впервые в рамках до недавнего времени гонимой, но когда-то покрывшей себя славой науки. Риторика в качестве теории фигур обрела новую жизнь в исследованиях по структурной лингвистике. Роман Якобсон был одним из первых, кто привлек внимание исследователей к практической ценности понятий, введенных еще Аристотелем. Отдавая дань этим двум ученым, внесшим большой вклад в развитие риторики, мы назвали нашу группу «группой μ » по первой букве греческого слова *метафорá*, обозначающего самую замечательную из метабол [Группа μ 1998: 26].

Здесь в сжатой форме заявлены все исходные посылки: сегодня мы переживаем возрождение риторики; возрождается риторика прежде всего в ее аристотелевском изводе; старая риторика требует

переосмысления на основании достижений современной науки; важнейшая часть риторики — учение о фигурах; из всех фигур главной является метафора. Однако в этом программном утверждении Группы μ заключен парадокс, чтобы не сказать курьез: манифестируя свою преемственность по отношению к риторике Аристотеля, бельгийские исследователи на самом деле если что и возрождают, то риторику Исократов, т. е. литературную риторику, для которой главной категорией была *красивая* речь, а не *убедительная* или *эффективная*, как у Аристотеля. *Изучение средств художественной выразительности* — ключевые слова как в приведенной выше цитате, так и в исследовательской программе Группы μ в целом.

Исходной точкой рассуждений для Группы μ — центром притяжения и одновременно отталкивания — явились идеи Романа Jakobson⁶. В статье «Лингвистика и поэтика» (1960) Jakobson предлагает шестичастную структуру речевого акта. Всякий речевой акт состоит из шести элементов: *адресант* (тот, кто отправляет сообщение), *адресат* (тот, кто получает сообщение), *контакт* (канал связи между адресантом и адресатом, по которому отправляется сообщение), *код* (язык, на котором порождается сообщение), *контекст* (смысл и цель речевого акта), *сообщение* (т. е. сам текст, устный или письменный). В каждом речевом акте должны присутствовать все шесть структурных элементов — при отсутствии или повреждении хотя бы одного из них речевой акт состояться не может⁷.

В соответствии с этой структурной моделью Jakobson выделяет шесть функций языка, которые воплощаются в речевых актах. Каждая из этих функций связана с доминированием какого-либо из элементов речевого акта. *Референтивная* функция проявляется при доминировании контекста, когда главная цель речевого акта — сообщение или запрос информации. Примеров можно привести бесконечное множество: университетская лекция, статья в энциклопедии, инструкция по сборке книжного шкафа, вопрос «который час?» и т. п. При доминировании кода на первый план выходит *метаязыковая* функция. Сюда включается всё то многообразие случаев, когда предметом речевого акта является язык. Это может быть как тот же язык, на котором осуществляется речевой акт, так и какой-то другой. Скажем, если мы по-русски обсуждаем, следует ли в орфоэпическом словаре допустить ударение *жа́люзи* или же настаивать на единственно возможном варианте *жалюзи́*, русский язык выступает и языком-объектом, и метая-

зыка. Если же по-русски спорят о том, допустима ли английская конструкция *I find that it is interesting*, английский язык является языком-объектом, а русский — метаязыком. Когда в речевом акте доминирует адресат, реализуется *конативная* функция языка. Простейшими примерами подобных речевых актов являются просьбы и приказы, к более подробному обсуждению которых я еще вернусь. *Фатическая* функция языка встречается при доминировании контакта, т. е. в тех случаях, когда цель речевого акта — проверка или заполнение канала. Например, такое простейшее речевое действие, как проверка микрофона, является полноценным речевым актом с реализацией фатической функции. Доминирование в речевом акте адресанта соответствует проявлению *эмотивной* функции языка. Наиболее яркий и концентрированный пример такого рода речевых актов — эгоцентрическая речь. Наконец, *поэтическая* функция связана с доминированием сообщения, т. е. с теми речевыми актами, в которых адресанту важно не только то, *что* он говорит, но и то, *как* он говорит. Самый очевидный пример — поэзия, отчего эта функция и получила у Якобсона свое название. Таким образом, каждому из шести структурных элементов речевого акта соответствует определенная функция языка:

контекст — *референтивная*

код — *метаязыковая*

адресат — *конативная*

контакт — *фатическая*

адресант — *эмотивная*

сообщение — *поэтическая*

Пытаясь построить теоретический аппарат изучения риторики, Группа μ вносит изменения в эту якобсоновскую схему: *поэтическая* функция языка заменяется *риторической*, которая, в свою очередь, возводится на вершину иерархии всех существующих функций языка. Такого рода коррективы, как мне кажется, оказались теоретически необоснованными и методологически бесперспективными⁸. В самом деле, получился замкнутый круг: область риторического определяется наличием риторической функции, последняя же действует во всей области риторического. По мысли Группы μ , риторика там, где есть фигурированная речь, а поскольку она есть фактически везде, то область риторического расширяется до бесконечных пределов. Что в таком случае оказывается предметом изучения риторики — абсолютно не ясно.

Между тем структура речевого акта, предложенная Якобсоном, и сопоставленные ее элементам функции языка позволяют достаточно надежно определить, какие речевые акты относятся к области риторического, а какие находятся за ее пределами. В самом деле. В речевом акте могут быть представлены все функции, несколько из них и даже одна. Легко видеть, что риторическими оказываются те речевые акты, в которых присутствуют одновременно две функции — поэтическая и конативная (наличие прочих опционально). Иными словами, те речевые акты, в которых адресант ставит перед собою две взаимосвязанные задачи — порождение культивированного текста и воздействие на адресата. Рассмотрим, как это работает, на примере двух частотных речевых жанров — просьбы и приказа. Приказ должен быть выполнен вне зависимости от того, хорош или плох его текст (важно лишь одно — текст должен быть понятен). Просьба же может быть не выполнена по той лишь причине, что ее форма (т. е. *сообщение* в якобсоновской терминологии) не понравилась адресату — просьба показалась ему грубой, небрежной, неуместной, дерзкой, излишне подобострастной и т. п. Таким образом, в речевом акте просьбы присутствуют и конативная, и поэтическая функции языка. В речевом акте приказа — лишь конативная. Стало быть, просьба находится в поле риторики, приказ — заведомо нет.

Фигуры и тропы — это та область изучения риторики, которая за всю историю собрала самую обширную литературу. Всё написанное на эту тему со времен Античности, с ее пристальным вниманием к многообразию всевозможных фигур, до некоторого рода кульминации — книги Лакоффа и Джонсона «Метафоры, которыми мы живем», уже не поддается не только анализу, но даже простому обозрению. При этом работа Лакоффа и Джонсона отнюдь не закрыла тему, а лишь увеличила поток дальнейших исследований. Если античные теоретики риторики пытались расширить номенклатуру тропов и фигур, подходя к проблеме со всё более чувствительной оптикой, позволяющей разглядеть мельчайшие частности, то современные исследователи, напротив, всё сужали фокус внимания, сосредотачиваясь почти исключительно на метафоре. Метонимии, как бедной родственнице, доставался лишь отраженный свет «главной из метабол», по определению Группы μ .

Группа μ в качестве одной из важнейших задач ставила нахождение *нейтрального*, нефигурированного языка — такого, который

можно принять за некоторую точку отсчета, т. е. *нулевую ступень*⁹, относительно которой отклоняется фигурированный язык. Понятие нулевой ступени было введено в науку о языке датским лингвистом Вигго Брёндалем в книге «Очерки по общей лингвистике» (1943). *Нулевая ступень* Брёндаля — это немаркированный, нейтральный элемент знаковой системы, в сравнении с которым маркируются остальные ее элементы: например, именительный падеж является нулевой ступенью падежной системы.

Как и в античной риторической теории, Группа μ определяет фигуры как некоторое «отклонение». Тем самым — поскольку отклонение может быть лишь *отклонением от чего-то* — за условие существования любой фигуры принимается наличие *нефигурированной* речи и/или текста. Античная риторика ограничивалась интуитивным представлением о такого рода речи / тексте, Группа μ пытается формализовать эту интуицию, обозначив подобный текст как *нейтральный дискурс*, или *нулевую ступень* (*degré zéro*) [Группа μ 1998: 68]. Определить нулевую ступень оказалось едва ли не более важно, чем описать все риторические приемы и систематизировать все фигуры и тропы. В самом деле, чтобы понять характер или степень отклонения, надо знать стандарт, относительно которого отклонение совершено: ведь мы не могли бы определить линию как кривую, не будь у нас эталона прямизны. Согласно Группе μ , нулевая ступень — это «нейтральный дискурс, без всяких украшательств, не предполагающий никаких намеков» [Группа μ 1998: 68]; любой текст, отклоняющийся от нулевой ступени, так или иначе фигурирован. Обратим внимание: вводя в риторiku понятие нулевой ступени, Группа μ пытается *формализовать* процедуру описания фигур, при этом самой нулевой ступени дается крайне неформальное определение: что такое *без всяких украшательств?* что означает *никаких намеков?* Никакие формальные процедуры обнаружения нулевой ступени не разработаны и даже не предполагаются.

Помимо введения понятия нулевой ступени Группа μ приняла смелую попытку классификации всех имеющихся фигур и тропов. Для того чтобы что-то классифицировать, сперва для этой классификации нужно найти основания. В качестве такого основания бельгийские ученые выбрали уровневую структуру языка. Уровни языка — это подсистемы языковой системы, каждая из которых состоит из однородных единиц, подчиненных общим правилам. Еди-

ницы языка — это элементы его системы, имеющие разные функции и значения. В языке всего четыре уровня — *фонемный (единица — фонема), морфемный (единица — морфема), лексический (единица — слово), синтаксический (единица — предложение)*. Единицы одного уровня находятся в иерархических отношениях с единицами другого уровня и определяются как «состоит из...», «входит в...»: слова состоят из морфем; фонемы входят в морфемы; предложения состоят из слов и т. д.¹⁰.

Классификацию тропов, в основание которой Группа μ положила уровневую структуру языка, можно представить в таком виде:

фонемный уровень — метаплазмы

лексический уровень — метасемемы

синтаксический уровень — метатаксис и металогизмы

Метаплазмы, метасемемы, метатаксис и металогизмы — это основные типы операций, порождающих в языке те или иные фигуры. Как почти все классификации, уровневая классификация фигур до известной степени условна. Весьма нередко встречаются такие фигуры, которые невозможно однозначно отнести к одному лишь из уровней языка: например, фонетические преобразования легко и охотно совмещаются с морфологическими, синтаксические — с лексическими.

Зафиксируем еще раз очевидное: фигуры и тропы возможны там и только там, где возможна ошибка. Это работает точно так же, как в формальной логике: паралогизмы (невольные логические ошибки) возникают на тех же участках логической структуры, где возможны и софизмы (умышленные уловки). Например, замена суждения $A(S,P)$ на $I(S,P)$, т. е. квантора общности квантором существования, и последующее выведение из I тех умозаключений, которые могут быть выведены лишь из A . Таким образом, для того чтобы выявить те участки языковой структуры, на которых возможна фигура, необходимо определить те, где возможна ошибка¹¹.

К *метаплазмам*¹², по классификации Группы μ , относятся фигуры, изменяющие звуковой и/или графический облик слова, т. е. полученные в результате преобразований, осуществленных на фонетическом уровне языка.

К *метатаксису* относятся фигуры, видоизменяющие структуру предложения. Это те преобразования, которые осуществляются на синтаксическом уровне языка.

Если всякая фигура — это по определению нарушение некоторой нормы или отклонение от нее, то что именно может быть нарушено на синтаксическом уровне? И легко ли сознательно совершить эти нарушения?

Для начала проведем простой мысленный эксперимент. Представим себе, что перед нами группа информантов (носителей русского литературного языка), которая получила от экспериментатора инструкцию: *на лежащем перед вами листе бумаги напишите в столбик десять грамматически правильных предложений на русском языке; время выполнения задания — 30 секунд*. Весьма разумно предположить, что через тридцать секунд мы получим ответы с грамматически безупречными русскими предложениями. Поскольку мы ограничили информантов во времени, предложения будут несложной структуры, вроде *книга лежит на столе* || *идет дождь* и т. п. Другой же группе информантов дадим такую инструкцию: *на лежащем перед вами листе бумаги напишите в столбик десять грамматически неправильных предложений на русском языке; время выполнения задания — 30 секунд*. Прежде чем выдвигать гипотезы о результате эксперимента, я предлагаю читателю попробовать выполнить это задание самостоятельно, отметив время по секундомеру. Даже если вы преуспели, уложившись в отведенное время (у вас было в среднем по три секунды на предложение), вы, скорее всего, столкнулись с трудностями. Высоко вероятно, что большая часть полученных от информантов неправильных предложений будет представлять собою образцы той синтаксической неправильности, которая никогда не встречается в речи носителей языка в качестве ошибки: **книга лежат на стол* || **идти сильная дождь* и т. п. Скорее всего, это будет нечто подобное. Почему наши гипотетические информанты легко справились с первым заданием и затруднились при выполнении второго? Дело в том, что синтаксис родного языка настолько *встроен* в наше языковое сознание, что мы его фактически не замечаем и тем более не задумываемся о синтаксических правилах и ограничениях.

Весьма типичной фигурой метатаксиста является синтаксическая омонимия — совпадение по форме словосочетаний или предложений с различной синтаксической структурой. Как правило, синтаксическая омонимия возникает в результате ошибки, когда автор текста не заметил второго значения фразы или словосочетания. Таким образом, фрагмент текста имеет два равноправных толкования. Однако в неко-

торых случаях синтаксическая омонимия может быть сознательным приемом.

Одной из широко распространенных фигур метатаксиса является парцелляция (новолатинское *parcellatio* — ‘разделение’, реконструированное из французского *parcelle* — ‘частица’) — деление предложения на слова или синтагмы, графически выделяемые как отдельные предложения. Таким образом, единая синтаксическая структура (предложение) представляется несколькими самостоятельными единицами (парцеллятами). В устной речи парцелляции оформляются интонационно: каждый парцеллят интонируется как законченная фраза. Как правило, парцелляция используется как средство речевой экспрессии. Парцелляция часто и широко используется в рекламе: каждый парцеллят звучит как слоган, особенно — финальный парцеллят.

К *метасемемам* принадлежат фигуры, заменяющие одну семему на другую: метафора, метонимия, синекдоха, перифраза, гипербола и т. п., т. е. это те преобразования, которые осуществляются на лексическом уровне языка.

Метасемемы — это и есть тропы, остальное — фигуры.

Метафора (от др.-греч. *μεταφορά* — ‘перенос’, ‘переносное значение’) — перенос по сходству названия объекта одного класса для описания объекта другого класса. Можно, в принципе, сказать, что метафора — это скрытое сравнение или сравнение с опущенным «как». «Он хитрый, как лиса» — сравнение. «На эту хитрую лису я бы особо не полагался» — метафора. Термин «метафора» принадлежит Аристотелю, который, впрочем, метафорой называет довольно большое количество фигур и тропов: гиперболу, метонимию, синекдоху, олицетворение и проч.

От частого употребления в речи метафоры *стираются*, т. е. перестают восприниматься носителем языка в качестве фигур речи. Такие метафоры называются *стертыми*, или *генетическими*. Например, *ножка стула, дверной глазок, солнце садится, языки пламени, скачок давления, грудная клетка*.

Метафора — это средство, встроенное в язык, а не специально изобретенная фигура, служащая для украшения речи. Об этом — за много веков до появления науки о языке — говорит Цицерон:

Подобно тому, как одежда, сперва изобретенная для защиты от холода, впоследствии стала применяться также и для украше-

ния тела и как знак отличия, так и метафорические выражения, введенные из-за недостатка слов стали во множестве применяться ради услаждения» [Античные риторики 1978: 381].

Метонимия — (от др.-греч. μετωνυμία — ‘переименование’, от μετά — ‘после’ и ὄνομα / ὄνυμα — ‘имя’) перенос по смежности, т. е. на основании соприкосновения вещей (как правило, в пространстве или во времени).

Природа метонимического переноса хорошо видна на знаменитом примере А. А. Реформатского:

Слово *бюро* имеет такую историю: французское *bureau* первоначально «ткань из верблюжьей шерсти», далее, тот «стол, который покрывался этой тканью», а это было в средневековой Франции в суде и других «присутственных» местах (ср. *конторское бюро*); затем «комната с такими столами», далее, «отдел учреждения» (*лекционное бюро*), «люди, работающие в этом учреждении» (*всё бюро в сборе*), и, наконец, «заседание этих людей» (*бюро у нас по четвергам, на бюро постановили*) [Реформатский 2000: 86].

Синекдоха — перенос с части на целое или с целого на часть.

Собственно языковыми являются лишь эти три вида метабол. Четвертая — *металогизмы* — фактически совпадает с тем, что в античной классификации называлось «фигурами мысли», и находится за пределами языковых преобразований: металогизмы изменяют «логическую значимость фразы» [Группа μ 1998: 67].

К классу металогизмов, в частности, принадлежит фигура умолчания (в греческой терминологии апосиопеза) — фигура, основанная на недоговоренности, умышленном пропуске части слова, слова, словосочетания или фрагмента текста. Целью умолчания является не скрыть (это лишь по форме скрытие), а напротив, акцентировать то, о чем умалчивается, привлечь к нему особое внимание.

Постоянно развивая, уточняя и усложняя систему фигур и тропов, риторика постепенно, но неуклонно двигалась от нормативной к описательной модели. По замечанию В. Н. Топорова, «риторика противостоит [...] герменевтике, имеющей дело с пониманием текста» [Топоров 2000], однако в области учения о фигурах риторика как

раз приближается к герменевтике, причем на такое критически малое расстояние, что фактически сливается с нею в этой точке. Настолько, что от нормативности почти уже ничего не остается. И в самом деле: с помощью подробнейшим образом разработанной системы фигур и тропов можно научить (и научиться) *истолкованию* текста, но весьма затруднительно — его *порождению*. Задумаемся на секунду: какой навык может быть передан ученику? выучить все известные фигуры и тропы настолько, чтобы память сама подсказывала нужный вариант в нужном месте текста? или, пробежавшись по перечню фигур, научиться выбирать оптимальную для каждой насущной надобности? Беда не в том, что этим навыком овладеть сложно — проблема в том, что им овладевать не нужно: язык устроен таким образом, что механизм фигурирования естественно встроен в него, а творческий аспект употребления языка позволяет говорящему спонтанно порождать фигуры и тропы, не задумываясь (а порой и вовсе не зная) ни об их устройстве, ни даже об их названии.

В 1970 г. в журнале «Коммуникасьон» выходит статья Жерара Женетта «Сокращенная риторика» («La rhétorique restreinte»), которую можно с полным основанием считать манифестом новой риторики. В этой работе Женетт пытается показать, как — начиная с Античности — неуклонно и планомерно сужалось предметное поле риторики:

Риторика — фигура — метафора: под прикрытием отрицающего или же компенсаторного псевдоэйнштейновского обобщения здесь приблизительно очерчен весь ход исторического развития дисциплины, чья сфера компетенции или, по крайней мере, действительности на протяжении веков непрестанно сокращалась наподобие шагреновой кожи. «Риторика» Аристотеля не претендовала быть «общей» (а тем более «обобщенной») — она просто была таковой, была настолько общей по размаху своих задач, что в ней еще не требовалось никак специально выделять теорию фигур; о сравнении и метафоре говорится здесь лишь на нескольких страницах в одной из трех книг, посвященной стилю и композиции, — это совсем крохотная территория, глухой угол, теряющийся в огромных пространствах Империи. Сегодня же мы называем «общей риторикой» то, что фактически является трактатом о фигурах. И если нам

приходится столько «обобщать», то это, конечно, оттого, что мы слишком много сокращали: от Корака и до наших дней история риторики есть история *обобщающего сокращения*. [...] [Р]иторика стала рефлексией о фигурации, круговым движением, где фигуральный смысл определяется как иное по отношению к прямому, а прямой смысл определяется как иное по отношению к фигуральному, — и надолго оказалась привязанной к этой головокружительно-педантской карусели (Курсив Женетта. — Э. К.) [Женетт 1998б: 17,19].

За условную точку отсчета, после которой началось сокращение риторической проблематики, Женетт принимает 1730 год. В этом году был опубликован трактат Дюмарсе «О тропах» — первое риторическое сочинение, в котором тропы являются фактически единственной проблемой риторики. В качестве причин подобного *сокращения* Женетт видит по крайней мере две: во-первых, расшатывание традиционной системы жанров красноречия (политическое — судебное — эпидейктическое), во-вторых, сведение пятичастной риторики почти только и исключительно к ее третьей части — элокуции. Элокуция же, в свою очередь, сводится лишь к украшению текста — *colores rhetorici* — что приводит к постепенной смене предмета риторики: теперь это уже не *эффективная*, а *литературная* речь. Основным и главным результатом сокращения явилось то, что риторика со временем превратилась в теорию метафоры, фактически исключив из своего предметного поля не только все остальные — лежащие за границами тропологии — проблемы, но и саму тропологию урезав до одного всего лишь тропа:

[В] начале XX века термин «метафора» оставался одним из немногих, уцелевших после великого крушения риторики. [...] [В]ековой процесс сокращения риторики имеет своим результатом абсолютную валоризацию метафоры, связанную с идеей сущностной метафоричности поэтического языка — и языка вообще. Конечно же, не может быть речи о том, чтобы отрицать эту вполне очевидную метафоричность. Нужно лишь напомнить, что фигуральность, сущностно заложенная в каждом языке, не *сводится* к одной лишь метафоре (курсив Женетта. — Э. К.) [Женетт 1998б: 28, 32].

Позитивная программа самого Женетта изложена им, по сути дела, в последних двух абзацах статьи и вполне традиционна для неориторики (в частности, французской) — семиотический проект изучения риторики и новое внимательное прочтение античного риторического наследия:

[О]дной лишь метафорике, одной лишь тропологии, одной лишь теории фигур еще недостаточно для написания общей риторики, а тем более для той, скажем, «новой риторики», которой нам не хватает (в числе прочих вещей), для того, чтобы «воздействовать на ход мировой машины», и которая должна представлять собой семиотику дискурсов — *всех* дискурсов. Иными словами, в известном смысле нам следовало бы вновь прислушаться к двусмысленному совету старого и вечно молодого автора «Фальстафа»: «Tortiamo all'antico, sarà un progresso» («Вернемся к древности — это и будет прогресс») [Женетт 1998б: 36].

В том же 1970 г. выходит статья Ролана Барта «Древняя риторика: памятка». Это как бы краткая история античной риторики, рассказанная языком современной науки — то, чего «древняя риторика» не могла рассказать о себе сама. Барт выделяет основные функции, которые выполняла античная риторика: искусство (Барт использует слово *technique*, очевидная отсылка к греческому τέχνη) убеждения, свод правил, необходимых для этого; учебная практика, предполагающая живой контакт ученика и учителя; наука о языке, включающая три аспекта: наблюдения над языковыми явлениями, классификация этих явлений (самым значительным результатом этой классификации оказался список риторических фигур); выработка метаязыка как аппарата риторических трактатов.

Характерная черта метариторических сочинений XX в. — диффузность предметного поля риторики. Всех авторов (за исключением Хаима Перельмана и льежских ученых из Группы μ) объединяет общая задача: не построить теорию риторики, а попытаться понять, к какой области знания относится риторика и что вообще обозначается этим словом?

[С]лово «риторика» имеет три значения:

1) риторика как наука *об общих условиях побудительного дискурса* (этой стороной и заведует семиология, поскольку [...] здесь мы снова сталкиваемся с диалектикой кодов и сообщений);

2) риторика как *техника порождения* определенного типа высказываний, как владение приемами аргументации, позволяющими породить высказывания убеждения, основанные на разумном балансе информации и избыточности (на этом поле хозяйничают различные дисциплины, изучающие механизмы мышления и чувствования);

3) риторика как *совокупность уже апробированных и принятых* в обществе *приемов убеждения*. В этом последнем смысле риторика предстает как совокупность, перечень отработанных способов убеждения, используя которые она подтверждает свои собственные послышки [Эко 1998: 101] (Курсив Эко. — Э. К.).

Самый грустный итог *риторического ренессанса* заключается в том, что новой теории риторики не появилось, а те результаты, которые всё-таки были получены, остались фрагментами весьма разрозненной мозаики¹³. Круг проблем, традиционно относящихся к риторике, продолжал бесконечно дробиться и расходиться по самым разным направлениям науки о языке. Дробление было настолько мелким и частным, что сегодня совершенно невозможно заново собрать всё это в единую риторическую теорию: риторика XX в. принципиально не поддается систематическому изложению.

Рекомендуемая литература

Большое число работ по неориторике переведено на русский язык. В первую очередь это [Группа µ: 1998] со вступительной статьёй [Авеличев 1998] и послесловием (имеющим самостоятельную ценность) [Гиндин 1998]. Для знакомства с общетеоретическими положениями неориторики полезно обратиться к работам [Женетт 1998а, 1998б]. Из «Трактата об аргументации» Хаима Перельмана и Люси Олбрехт-Тытеки [Perelman, Olbrechts-Tyteca 1983] на русский язык переведена лишь сравнительно небольшая часть [Перельман, Олбрехт-Тытека 1987]. Однако на русском языке доступна работа [Розенгрэн 2012], представляющая собою содержательный анализ «Трактата». Проблемам неориторики с семиотической точки зрения посвящена большая часть работы [Эко 1998].

ГЛАВА 4. РИТОРИКА БЕЗ РИТОРИКИ

В XX в. несколько направлений науки о языке обращаются к той проблематике, которая была традиционно риторической, однако ни одно из них не пользуется классической теорией риторики — ни полностью, ни даже частично. Они говорят, по сути дела, о том же самом, но пишут свои теории с чистого листа; это не модернизация старой риторической теории, как, в частности, у Перельмана и Группы μ , а разрыв — сознательный или несознательный — с нею. Однако предметная область настолько близка к традиционной риторической, что можно назвать эти направления исследований *имплицитными риториками*, не боясь сильно погрешить против истины. Эту близость — а порой и почти совпадение — я постараюсь ниже показать.

Та проблематика, которая была традиционно в поле зрения классической риторики, в XX в. стала сферой исследовательских интересов прагматики. Основной круг вопросов, которыми занимается прагматика — адресант и адресат, их взаимодействие в процессе коммуникации, ситуация, в которой происходит коммуникация.

Термин *прагматика* ввел в научный оборот Чарльз Моррис, один из отцов-основателей семиотики, в работе «Основания теории знаков» (1938). Он разделил семиотику на три составляющие — *семантику*, изучающую значение знака, *синтактику*, изучающую отношения между знаками внутри знаковой системы, и *прагматику*, изучающую отношение знаков к пользователям знаковой системы.

Можно [...] изучать отношения знаков к их объектам. Это отношение мы назовем *семантическим измерением семиозиса* (обозначается символом $I_{\text{сем}}$); изучение этого измерения назовем *семантикой*. Предметом исследования, далее, может стать отношение знаков к интерпретаторам. Это отношение мы назовем *прагматическим измерением семиозиса* (обозначается символом $I_{\text{прагм}}$), а изучение этого измерения — *прагматикой*. [...] Безусловно, каждый знак, хотя бы потенциально, если не фактически, имеет связи с другими знаками, ибо только с помо-

стью других знаков может быть сформулировано то, к учету чего знак готовит интерпретатора. Разумеется, такое формулирование вовсе не обязательно, но в принципе оно возможно, и тогда данный знак вступает в отношения с другими знаками. Поскольку во многих случаях знаки, кажущиеся на первый взгляд изолированными, на самом деле таковыми не являются и поскольку все знаки, хотя бы потенциально, если не фактически, связаны с другими знаками, то целесообразно выделить третье измерение семиозиса, столь же правомерное, как и два других, названных выше. Это измерение мы назовем *синтаксическим измерением семиозиса* (обозначается символом $I_{\text{син}}$), а изучение его — *синтактикой* [Моррис 2001: 50].

Термин *семиозис* (др.-греч. σημεῖωσις — ‘обозначение’), обозначающий процесс интерпретации знаков, был заимствован семиотикой из древнегреческой медицины: физиолог Гален¹ словом *семиозис* называл интерпретацию симптомов. В семиотику этот термин ввел ее отец-основатель Чарльз Пирс². Семиозис был центральным понятием семиотики Пирса: знак становится знаком тогда и только тогда, когда он осмыслен интерпретатором. Как симптом сам по себе ничего не значит до тех пор, пока не интерпретирован врачом (или самим больным), так и знак не работает, если он не прочтен интерпретатором.

Возьмем простую и хорошо всем знакомую знаковую систему — светофор. Семантика знака: красный — стоять, зеленый — двигаться, желтый — приготовиться к перемене сигнала. Синтактика знаковой системы: поочередная упорядоченная смена знаков — за красным следует желтый, затем зеленый, снова желтый и т. д. Прагматика: поведение водителя и/или пешехода на регулируемом перекрестке — стоим ли мы на пустой ночной улице, если пешеходам горит красный сигнал, или перебегает дорогу? Моррис признает синтактику с оговоркой, но между тем именно синтактика — несущая конструкция знаковой системы. Простейшей знаковой системой является знаковая система, состоящая из знака и его отсутствия, т. е. знака и нуля. Если допустить, что из знаковой системы исчез ноль, то перестает работать и оставшийся знак. Подобный сбой семиотической системы хорошо показывает легенда о датском короле Кристиане X, который во время немецкой оккупации нашел на одежду шестиконечную звезду, и подданные королевства сделали то же вслед за своим королем — евреев,

которым было приказано носить маген-давид на одежде, стало невозможно отличить от неевреев. Семиотическая система тотчас перестала работать, как только из нее был исключен ноль — в данном случае, отсутствие маген-давида. Посмотрим внимательно на этот пример. Что случилось со знаковой системой? Семантика знака осталась (наличие желтой звезды на одежде маркирует еврея), прагматика тоже осталась (отношение — неважно в данном случае, какое — интерпретаторов к носителям шестиконечной звезды). Но разрушена синтактика — и знаковая система рухнула.

Вернемся к примеру со светофором. Эта знаковая система работает именно благодаря синтактике: последовательной и строго определенной смене цветовых сигналов. Увидев, что горит красный сигнал светофора, пешеход не бросается бежать к другому светофору в надежде, что тот светит зеленым светом. Он стоит и ждет смены сигнала. Между тем, увидев дорожный знак «кирпич», никто не стоит в ожидании перемены знака — синтактика этой знаковой системы работает иначе. Хотя семантика у красного сигнала светофора и у кирпича одинакова: запрет движения. Однако у знаковых систем, к которым принадлежат эти знаки, разная синтактика, поэтому знаки работают по-разному.

Попробуем посмотреть с семиотической точки зрения на широко известный эксперимент в вашингтонском метро, придуманный журналистами «Вашингтон пост»³. Всемирно известный скрипач Джошуа Белл — признанный лучшим из ныне живущих в США скрипачей — 12 января 2007 г., в утренний час пик, в течение сорока пяти минут играл на станции «Ланфан Плаза» произведения Крейсlera, Шуберта, Массне и Баха; музыка исполнялась на скрипке Страдивари ручной работы, 1713 г. Люди проходили мимо, кто-то кидал монеты (за время эксперимента Белл собрал 32 доллара и 17 центов). Под самый конец эксперимента Белла узнала в лицо одна женщина, которая положила ему двадцать долларов (эти деньги не учитывались при подсчете заработка). Что произошло с семиотической точки зрения? В дальнейших рассуждениях я оставляю за скобками людей, способных вынести об игре скрипача экспертное мнение — таких единицы в огромной толпе (впрочем, и слушатели в лучших концертных залах тоже не сплошь эксперты и тонкие ценители). Войдя со скрипкой в метро, Джошуа Белл стал частью знаковой системы, довольно привычной и обыденной: метро, торопящиеся пассажиры, музыкант, играющий на

станции или в переходе. Белл вписался в некоторую хорошо знакомую людям синтаксическую структуру, стал элементом этой синтактики. Именно эта синтактика и определила прагматику знака: никому и в голову не пришло прислушаться к тому, *какая музыка и какого качества* раздается среди обыденного шума метро. Среди тех, кто прошел мимо, не повернув головы в сторону Белла, наверняка есть и такие, которые готовы заплатить немалые деньги за его концерт в дорогом и престижном концертном зале. Я опять же не об экспертах и не о ценителях: просто о людях, которым нравится музыка и которые, купив дорогой билет на концерт, *заранее ожидают* высокого мастерства исполнителя, даже если и не способны сами отличить игру гения от игры хорошего, но посредственного скрипача. Стоит тот же знак, с той же семантикой, перенести в другую синтаксическую структуру, как прагматика неизбежно изменится. Этот эксперимент, вообще говоря, хорошо показывает механизм работы риторики как семиотической системы: прагматика знака, т. е. отношение к нему интерпретаторов знаковой системы, непосредственно зависит от синтактики знаковой системы.

Человек может верно понимать только ту знаковую систему, интерпретатором которой он является, т. е. знает конвенции, лежащие в ее основе. Ошибки в прочтении знаковых систем могут происходить из-за того, что, не зная конвенции, человек пытается интерпретировать неизвестную ему знаковую систему или же вообще принять за знаковую систему то, что ею не является и не подлежит семиотической интерпретации. На ошибке подобного рода построен сюжет замечательного романа Герберта Розендорфера «Письма в Древний Китай» (1983). Главный герой романа, китайский мандарин X в. Гао Дай, чудесным образом — с помощью изобретенной его другом машины времени — попадает в Мюнхен второй половины XX в. и оттуда столь же чудесным образом — с помощью «почтового камня» — посылает письма своему другу Цзи Гу, где описывает и — главное! — интерпретирует всё, что он видит вокруг. Наблюдаемое он воспринимает как знаковые системы со своей семантикой, синтактикой и прагматикой. Разумеется, интерпретации Гао Дая носят совершенно фантастический характер⁴.

До известной степени риторические памятники эпохи Античности для нас оказываются своего рода «Древним Китаем»: от современного читателя, не являющегося интерпретатором античной знаковой системы, требуются изрядные усилия для ее адекватного прочтения.

Чарльз Моррис предшественницей прагматики называет именно риторику. Такая параллель вполне понятна: поскольку риторика имеет место только в модели *адресант — адресат*, интерпретатору знаковой системы отводится в ней особая роль. Исключенный из модели *адресант — адресат*, риторический текст перестает существовать. Эти тексты вообще живут очень мало — большинство из них тотчас уходит в мусорную корзину, единицы входят в историю и становятся памятниками риторики, утратившими свою живую функцию. Чтобы эти памятники смогли ожить, вновь стать действующими риторическими текстами, нужно одно условие — чтобы нашлись люди, которые могут стать интерпретаторами этой знаковой системы. Современному человеку, как правило, невероятно трудно понять, чем же так хороши речи великих ораторов Греции. Он охотно готов верить в их величие на слово, но, прочитав сами тексты речей, испытывает некоторое недоумение: как можно публично произносить такую речь? кто ее будет слушать? и чем уж так восхищались современники? Дело в том, что этот человек не является интерпретатором этой знаковой системы, он — ее сторонний наблюдатель. Этот текст не с ним говорит, не к нему обращен и не предполагает его в качестве даже потенциального адресата. Таким образом, тексты, изъятые из определенного речевого акта, перестают быть фактом риторики, при этом оставаясь фактом языка и/или культуры. Не будучи адресатом речей, написанных и/или произнесенных за несколько веков до нашего рождения, мы заведомо исключены из коммуникативной ситуации⁵.

В 1962 г. под названием «Слово как действие» («How to do things with words») был опубликован курс лекций Джона Остина, прочитанный им в Гарвардском университете в 1955 г. Этот курс явился основой того направления в лингвистике и философии языка, которое получило название *теории речевых актов*. В этих лекциях Остин представил речевой акт как трехуровневое образование, состоящее из *локутивного акта* — т. е. речевого акта в отношении к его языковым средствам, *иллокутивного акта* — речевого акта в отношении к его цели и *перлокутивного акта* — речевого акта в отношении к его результату. Перлокутивные акты являются традиционным предметом изучения риторики.

Посмотрим на примере: *Я позволю завтра ректору*. Как локутивный акт эта фраза представляет собою синтаксически правильную конструкцию, обладающую определенной семантикой ('говорящий

сообщает, что он завтра позвонит ректору’). Как локутивный акт эта фраза имеет одно и только одно значение. В качестве иллокутивного акта та же фраза может иметь по крайней мере три значения: (1) ‘говорящий сообщает о своих намерениях’; (2) ‘говорящий дает обещание позвонить ректору’ (если к нему обратились либо с прямой просьбой позвонить ректору, либо же просьба требует этого звонка); (3) ‘говорящий угрожает позвонить ректору’ (если, например, ему стало известно о провинности адресата, о которой он завтра сообщит ректору; или он угрожает, например, заведующему кафедрой, что будет действовать через его голову). В качестве перлокутивного акта эта фраза может иметь своим результатом воздействие на адресата, причем как желаемое адресантом, так и не желаемое им. Действительно, если имела место иллокуция (2) и адресат поверил обещанию адресанта (в данном случае не важно, собирается ли адресант его выполнять) — перлокутивный эффект заключается в том, что обещание принято на веру. В случае иллокуции (3) перлокутивный эффект будет заключаться в том, что угроза подействовала на адресата. Эти перлокутивные эффекты подразумевались адресантом. Однако в случае иллокуции (1) может возникнуть перлокутивный эффект, которого адресант не имел в виду и на который соответственно не рассчитывал: простое сообщение о намерениях позвонить ректору может быть воспринято адресатом как угроза и вызвать у него страх и тревогу, чего и в мыслях не имел адресант. Хорошо видно, что теория речевых актов позволяет более формально решать проблему риторического воздействия — т. е. того самого перлокутивного эффекта, действие которого я постаралась показать на приведенном выше примере. Риторика как стратегия и тактика *эффективной речи* заведомо предполагает, что эффект должен быть именно таким, каким его прогнозировал адресант, а не неожиданностью, возникшей вследствие интерпретации высказываний адресанта адресатом.

Риторическая удача возможна в том случае, если иллокутивное намерение говорящего совпадает с перлокутивным эффектом высказывания. Понятно, что одно и то же иллокутивное намерение может иметь разные перлокутивные эффекты у разных адресатов — тут мы опять сталкиваемся с традиционной для риторики проблемой адресант — адресат. Когнитивный психолог Лера Бородицки в лекциях о влиянии языка на мышление приводила пример: *Palin read Chomsky's latest book (Пейлин прочитала последнюю книгу Хомского)*. Слайд с

этим примером американская аудитория всегда встречала смехом. Я полагаю, едва ли среди моих читателей найдется много тех, кто сейчас хотя бы улыбнулся: столкновение в таком контексте имен Сары Пейлин и Ноама Хомского не кажется забавным. В той аудитории, где шутка понятна, речевой акт будет иметь следующую структуру:

локутивный акт: *X прочитал книгу Y-a*

иллокутивный акт: *X прочитал книгу Y-a, и я говорю об этом с иронией*

перлокутивный акт: *X прочитал книгу Y-a, и это смешно*

В той аудитории, где шутка непонятна, локутивный и иллокутивный акты останутся теми же, а перлокутивный акт примет вид *X прочитал книгу Y-a, и это просто пример*. В этом случае иллокутивное намерение говорящего не достигло цели и налицо риторическая неудача⁶.

В терминах теории речевых актов Остина легко и удобно переформулировать некоторые положения классической пятичастной риторики (см. Главу 2). На этапе диспозиции перед оратором ставится задача расположить имеющиеся у него аргументы, упорядочив их по критерию силы / слабости. При этом, напомним, говорящий должен поставить себя в позицию слушающего и с его точки зрения определить, какие из аргументов наиболее сильны. С точки зрения теории речевых актов эта процедура должна быть представлена в следующем виде. Пусть у нас есть аргумент А. Например: *светлячков не следует убивать, потому что в противном случае ночью станет совсем темно и гномики не найдут дорогу домой*. Тогда иллокутивный акт будет иметь следующий вид: *то, что гномики не найдут дорогу домой, я считаю сильным аргументом для данного адресата*. Риторический эффект будет достигнут тогда и только тогда, когда перлокутивный акт примет вид: *то, что гномики не найдут дорогу домой, — веское основание для того, чтобы не убивать светлячков*. Иными словами, аргумент сработал, если иллокутивное намерение совпало с перлокутивным эффектом.

Отдельно следует остановиться на так называемых *коммуникативных максимах Грайса* (или *постулатах Грайса*). Коммуникативные максимы были предложены Полом Грайсом в работе «Логика и речевое общение» (1975). В этой работе Грайс вводит понятие *принципа кооперации*, который должен соблюдаться в речевом общении.

[М]ожно в общих чертах сформулировать следующий основной принцип, соблюдение которого ожидается (при прочих равных условиях) от участников диалога: «Твой коммуникативный вклад на данном шаге диалога должен быть таким, какого требует совместно принятая цель (направление) этого диалога». Этот принцип можно назвать Принципом Кооперации [Грайс 1985: 222].

Для соблюдения этого принципа необходимо выполнение нескольких требований, которые Грайс называет *постулатами*. Пользуясь кантовским аппаратом, Грайс разделяет постулаты на категории *количества, качества, отношения и способа*. Категория *количества* регламентирует то количество информации, которое должно быть передано в конкретном высказывании. Эта категория требует соблюдения двух постулатов:

1. «Твое высказывание должно содержать не меньше информации, чем требуется (для выполнения текущих целей диалога)».
2. «Твое высказывание не должно содержать больше информации, чем требуется»⁷.

К категории *качества* принадлежит постулат «старайся, чтобы твоё высказывание было истинным», воплощенный в двух субпостулатах:

1. «Не говори того, что считаешь ложным».
2. «Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований».

Со следующей категорией — *отношения* — связан один постулат: «Не отклоняйся от темы».

Последняя категория — *способа* — определяет не то, *что* говорится, но то, *как* это говорится. В ее общем постулате — «выражайся ясно» и его четырех частных уточнениях отлично угадывается требование ясности, предьявляемое греко-римской риторикой к элокуции:

1. «Избегай непонятных выражений».
2. «Избегай неоднозначности».
3. «Будь краток (избегай ненужного многословия)».
4. «Будь организован».

Задав список постулатов и кратко прокомментировав их, Грайс делает очень важную оговорку:

[Э]мпирически достоверный факт состоит в том, что люди на самом деле ведут себя именно таким образом: они научаются этому в детстве и не теряют эту привычку в дальнейшем.

И вообще, очевидно, что радикальное изменение этой привычки стоит больших усилий. Так, говорить правду проще, чем придумывать ложь. Я, однако, в достаточной степени рационалист, чтобы пытаться найти этим фактам обоснование — как бы бесспорны они ни были сами по себе. Мне бы хотелось рассматривать стандартный канон речевого общения не просто как то, чего все люди (или большинство людей) на самом деле придерживаются. Я бы хотел понять, почему это разумно, почему нам не следует отступать от этого канона. В течение некоторого времени меня привлекала мысль, что соблюдение в речевом общении Принципа Кооперации и постулатов следует рассматривать как своего рода квазидоговор, аналогичный тому, который действует за пределами сферы дискурса, то есть во внеречевом общении. Так, если вы проходите мимо меня в тот момент, когда я пытаюсь починить сломанную машину, то я, безусловно, в какой-то степени ожидаю, что вы предложите мне помощь; если же вы начинаете вместе со мной возиться в капоте, то мои ожидания подтверждаются и приобретают более конкретный характер (при отсутствии указаний на то, что вы просто-напросто некомпетентный бездельник, который всюду сует свой нос). Мне казалось, что речевое общение обладает, хотя и в своеобразной форме, общими свойствами, характеризующими совместную деятельность любого типа [Грайс 1985: 224—225].

Мне пришлось сделать длинную выписку, но эту цитату трудно оборвать без потерь. Из этого фрагмента хорошо видно, что Грайс исходит в своих рассуждениях из двух принципиальных допущений: во-первых, соблюдать *принцип кооперации* для человека естественно, тогда как его нарушение, напротив, требует усилий; во-вторых, речевая коммуникация аналогична любой другой совместной деятельности и подчиняется тем же самым законам. Первое допущение, которое Грайс применяет к реальной речевой деятельности, на самом деле может относиться только к идеальным говорящему и слушающему. Предположение о том, что реальные говорящий и слушающий должны вести себя (и даже более — естественным образом ведут себя!) именно так, убивает наповал риторику — по крайней мере, ту риторику, которая сложилась в античной культуре и затем была пере-

дана европейцам. Тем более это так, если допустить, что речевая коммуникация имеет ту же природу, что и любое другое совместное действие. Грайс приводит пример (и возвращается к нему несколько раз) с починкой автомобиля, описывая эту деятельность как некоторого рода модель речевой коммуникации. Если во время совместных действий меня просят принести молоток — то от меня не ждут, что вместо него я принесу бензопилу; если просят принести молоток, по умолчанию предполагается, что я принесу один, и мое возвращение с девятью молотками будет выглядеть странным; если меня просят принести молоток, от меня не ждут, что я принесу его и начну им колоть грецкие орехи. И так далее. Совершенно очевидно, что речевая коммуникация не может строиться по такой же модели, разве что в предельно формализованной коммуникативной ситуации типа приема и передачи речевых команд и т. п. В любом другом случае мы постоянно нарушаем постулаты, как некоторые из них, так порой и все сразу, и при этом не терпим коммуникативную неудачу и даже вполне эффективны. За счет чего это происходит и как это возможно? Пол Грайс для объяснения этого вводит понятие *импликатуры*.

Понятию *импликатуры* довольно трудно дать формальную дефиницию⁸, поэтому попробуем определить его интуитивно. У каждого осмысленного высказывания есть *эксплицитный*, т. е. явно выраженный смысл: *идет дождь*; *этот текст написан на иврите*; *и восходит в свой номер на борт по трапу постоялец, несущий в кармане spanny*; *some books are undeservedly forgotten, none are undeservedly remembered*; *las mariposas no duermen la siesta*; *kada benadam i benadam nase forro i igual en dinyidad i en derechos*. Для того чтобы понять эти высказывания, нам надо только одно — знать язык, на котором они произнесены или написаны (в приведенных примерах — русский, английский, испанский и ладино). Больше не требуется никаких знаний — ни кто это сказал, ни кому, ни зачем, ни в какой обстановке. Однако в реальной речевой практике такого рода понимание часто оказывается недостаточным, а порой и бесполезным: поняв прямой, т. е. *эксплицитный*, смысл высказывания, слушающий может не понять (или неверно истолковать), зачем и почему говорящий произнес ту или иную фразу. Теперь возьмем наш первый пример — *идет дождь* — и поместим его в короткий контекст:

(1) *Вы гулять пойдете?*

(1') *Идет дождь.*

Подобного рода диалог никому — ни самим его участникам, ни сторонним наблюдателям — не кажется ни странным, ни бессвязным. А между тем если мы посмотрим только на эксплицитный смысл ответа, окажется, что он никак не связан с предшествующим ему вопросом: спрашивающий не интересовался ни фактом наличия / отсутствия дождя, ни погодой вообще, он лишь задал конкретный вопрос и эксплицитного ответа на него не получил. Что же заставляет нас пропускать подобного рода диалоги в разряд связных и осмысленных? Именно *имплицитное* значение сказанного. Слушающий легко достраивает ту часть высказывания говорящего, которая не выражена явно, но подразумевается, т. е. *имплицитируется* говорящим: (1²) ‘идет дождь, поэтому мы не пойдем гулять’. Вот этот восстановленный смысл Грайс и называет *импликатурой*: произнося некоторое высказывание р (в нашем примере 1¹), говорящий имеет в виду, что q (в нашем примере 1²). Мы сейчас легко построили эту импликатуру, воссоздав простую цепочку рассуждений: дождь — не самое подходящее время для прогулок, следовательно, раз идет дождь, то прогулка отменяется. (Заметим при этом, что если заменить вопрос (1) на *Почему вы не пойдете гулять?*, (1¹) будет уже не импликатурой, а высказыванием с эксплицитным смыслом: говорящий прямо называет причину, по которой отменена прогулка). Посмотрим еще на несколько простейших примеров.

(2) *Не могли бы вы передать мне вон тот журнал?*

Любому человеку, мало-мальски знакомому с правилами речевого этикета, очевидно, что (2) является вопросом лишь по форме, на самом же деле это просьба, выраженная импликатурой ‘я прошу вас передать мне журнал’, и требует не ответа, а действия. Точно так же, как

(3) *У нас не курят*

не констатация факта, а в мягкой форме выраженный запрет (с импликатурой ‘здесь курить нельзя’). Импликации высказываний (1, 2, 3) легко прочитываются слушающим постольку, поскольку у всех говорящих на этом языке (в наших примерах на русском) есть некоторые общие знания о мире (1) и о правилах поведения (2, 3).

Теперь попытаемся формализовать понятие импликатуры. Для этого удобно обратиться к аппарату формальной логики. Импликацию (1²) можно переписать в виде *Если идет дождь, то мы не идем гулять* (1³). Таким образом, мы получили синтаксическую структуру, называемую в логике *импликацией*: *если А, то В* (в символическом виде записывается $A \rightarrow B$). Клаузы А и В (т. е. те простые предложения, из которых состоит 1³) называются *посылкой* и *заключением* импликации. В нашем высказывании 1¹ эксплицитно выражена лишь посылка, а заключение по умолчанию предоставляется достроить слушающему. В формальной логике истинностная таблица для импликации выглядит следующим образом:

А	В	$A \rightarrow B$
И	И	И
И	Л	Л
Л	И	И
Л	Л	И

Однако не всегда для определения импликатуры достаточно просто прибавить, как в только что рассмотренном случае, к эксплицитно выраженной посылке недостающее заключение. В случаях типа (2) приходится прибегать к некоторой описательной конструкции, которую назовем *метатекстовой импликацией*. В (2) она будет иметь вид *если я спрашиваю о возможности сделать нечто, то тем самым я прошу это сделать*. Такого рода метатекстовая импликация легко выстраивается всяким слушающим, знакомым с правилами речевого этикета. Рассмотрим еще один простейший случай. В советских аптеках бытовал традиционный обмен репликами между покупателем и провизором:

(4¹) *Скажите, валидол есть?*

(4²) *Тридцать семь копеек.*

Я не знаю, сколько стоил валидол в советские годы и, возможно, привожу нелепую цену, однако покупатель, которому была понятна прагматика высказывания провизора, действовал в соответствии с метатекстовой импликацией *если провизор называет цену препарата, то препарат в аптеке есть*, т. е. приписывал (4²) импликацию ‘валидол есть’.

Формально фармацевт нарушает постулат релевантности и постулат количества: он отвечает не на тот вопрос, который был задан и сообщает больше информации, чем у него запросили. Но покупателя такой ответ не смущает, поскольку он понимает импликатуру высказывания фармацевта: ‘препарат X есть и стоит тридцать семь копеек’. Отвечая таким образом, фармацевт на одну ступень сокращает диалог, который с полным формальным соблюдением коммуникативных постулатов выглядел бы так:

(4) *Скажите, у вас есть препарат X?*

(5¹) *Есть.*

(5²) *А сколько он стоит?*

(6) *Тридцать семь копеек.*

Пропуская реплику (5¹), фармацевт избавляет покупателя от необходимости произносить реплику (5²). Фармацевт понимает *прагматику высказывания* покупателя: если он спрашивает о наличии препарата, значит, он хочет его купить; если даже покупатель не купит препарат (нет с собой достаточного количества денег, препарат оказался слишком дорог, человек спрашивал не для себя), он поймет ответ *тридцать семь копеек* как ‘да, есть, он стоит тридцать семь копеек’.

Импликатура представляет собой частный случай общей прагматики высказывания, которая с риторической точки зрения должна учитываться адресантом, если он не хочет потерпеть коммуникативную неудачу. Дело в том, что при самых разнообразных видах коммуникативных неудач с точки зрения риторики вина всегда лежит на адресанте, а не на адресате. Если адресат неправильно понимает прагматику высказывания, значит, адресант не учел возможности такого неверного толкования. Посмотрим еще на один банальный пример:

(7) *Простите, где здесь часовая мастерская?*

(8) *Ее уже полгода как закрыли.*

Между тем говорящего интересовала не часовая мастерская, она была лишь ориентиром, находящимся в том жилом доме, куда идет говорящий. Автор реплики (8) неправильно понимает прагматику высказывания: он думает, что человеку нужна именно мастерская, и инициатор диалога терпит коммуникативную неудачу. (Ее, конечно,

можно исправить уточняющим вопросом, но такого рода коррекции постфактум возможны далеко не всегда).

Конвенциональная импликатура возможна тогда, когда между адресантом и адресатом заранее установлена некоторая договоренность относительно семантики *ad hoc*. Конвенциональные импликатуры часто используются в том случае, когда участники речевого акта намереваются скрыть смысл сказанного от посторонних. Ср. у Лидии Чуковской в «Записках об Анне Ахматовой»:

Поселилась я сначала у Митиных родителей в Киеве. Потом в Ворзеле под Киевом. Потом в Ялте. Никто меня не искал. Получив от Корнея Ивановича известие, что *Пётр Иванович (условное наименование НКВД) остепенился, вошел в ум и более не зарится на чужих жен*, — я вернулась в Ленинград, домой.

Адресат верно понимает импликатуру, потому что находится в рамках одной с адресантом — заранее условленной — конвенции: под Петром Ивановичем понимается НКВД, не зарится на чужих жен — значит, прекратились аресты жен «изменников Родины» (муж Лидии Чуковской был осужден именно по этой статье).

В этой же работе Пол Грайс касается и непосредственно риторической проблематики: он показывает, каким образом и за счет чего мы можем пользоваться фигурированным языком, почему высказывания, в которых присутствуют фигуры речи, нам понятны и не вызывают трудностей. На примере нескольких фигур (ирония, метафора, литота, гипербола) Грайс описывает, как в этих случаях работает механизм распознавания смысла сказанного, хотя всякая фигура есть нарушение коммуникативных постулатов и, казалось бы, должна существенно затруднять понимание смысла сказанного / написанного: сталкиваясь с фигурированной речью, адресат прочитывает не прямой смысл, но импликатуру, заложенную в высказывании.

Позднее в науку о языке пришел из логики термин *инференция*, т. е. получение выводных данных в процессе обработки информации и/или языка и само выводное знание, умозаключение, — одна из важнейших когнитивных операций человеческого мышления, в ходе которой, опираясь на непосредственно содержащиеся к тексту сведения, человек выходит за пределы данного и получает новую информацию [Кубрякова 1997: 33—34].

Иными словами, инференция — это когнитивная операция слушающего, в ходе которой он додумывает за говорящего (например, достраивает отсутствующие звенья логической цепочки), ибо угадывает его иллокутивные намерения. Инференция дает возможность слушающему выстраивать правдоподобные толкования слов говорящего и таким образом восстанавливать когерентную связность там, где имеются разрывы. Ср. пример, рассматриваемый в [Кубрякова 1997: 34]:

Мальчик играл мячом. Оконное стекло разлетелось на тысячу осколков. Текст является связным при понимании того, что мальчик попал мячом в окно, но сведения об этом прямо в тексте не содержатся — их надо вывести из него. Эти сведения и называются выводными, инферентными.

Механизм работы того, что впоследствии получило название инференции, обсуждал еще Аристотель в «Риторике», связывая эту когнитивную процедуру с присущей человеку способностью строить правдоподобные рассуждения:

[Р]иторическое [...] доказательство есть энтимема, и это, вообще говоря, есть самый важный из способов убеждения, и так как очевидно, что энтимема есть некоторого рода силлогизм и что рассмотрение всякого рода силлогизмов относится к области диалектики — или в полном объеме или какой-нибудь ее части, то ясно, что тот, кто обладает наибольшей способностью понимать, из чего и как составляется силлогизм, тот может быть и наиболее способным к энтимемам, если он к знанию силлогизмов присоединит знание того, чего касаются энтимемы, и того, чем они отличаются от чисто логических силлогизмов, потому что с помощью одной и той же способности мы познаем истину и подобие истины. Вместе с тем люди от природы в достаточной мере способны к нахождению истины и по большей части находят ее; вследствие этого находчивым в деле отыскания правдоподобного должен быть тот, кто так же находчив в деле отыскания самой истины (Rhet. I).

Ошибки в выстраивании импликатур и инференций приводят к коммуникативным неудачам, вызванным двумя причинами: или

импликатура говорящего непонятна слушающему, или же инференция слушающего предполагает импликатуру, которой не было в высказывании говорящего. И в том, и в другом случае импликатура не совпадает с инференцией. Импликатура говорящего может быть непонятна слушающему из-за нарушения двух классических требований к элокуции: ясности и/или уместности. Требование ясности нарушено в том случае, если импликатура настолько туманна, что вообще не прочитывается слушающим, который видит в высказывании только экспликатуру. Требование уместности нарушено тогда, когда именно этот адресат (индивидуальный или коллективный) не в состоянии прочесть эту импликатуру.

Например:

— *С чего вы это взяли?*

— *Прочитал в статье X-а.*

— *Ну, X авторитет в этой области.*

В том случае, если слушающий не улавливает в высказывании об авторитетности X-а иронии говорящего, он понимает только экспликатуру, не понимая импликации 'мнение X-а в этой области не может считаться авторитетным'. С другой стороны, инференция слушающего может не соответствовать иллюкутивному намерению говорящего: например, слушающий может увидеть намек там, где никакого намека вовсе не было.

Следует, между тем, заметить, что противопоставление успешной / неуспешной импликации не бинарно, а градуально. Невозможно коммуникативную и/или риторическую стратегию адресанта, использующего импликацию, описать в рамках бинарной системы «плюс—минус», где «плюс» — успешная импликация, а «минус» — неуспешная. В самом деле, одним из наиболее частотных видов импликации является намек⁹. Градуальность намеков совершенно очевидна из того, в сочетании с какими прилагательными может вступать существительное *намек* и с какими наречиями — глагол *наекать* / *наекнуть*: *прозрачный намек* / *прозрачно наекнуть*; *туманный намек* / *туманно наекнуть*; *тонкий намек* / *тонко наекнуть*; *грубый намек* / *грубо наекнуть*. Разумно предположить, что на шкале «плюс—минус» перечисленные примеры будут расположены в порядке *грубый* — *прозрачный* — *тонкий* — *туманный*.

Вернемся еще раз к примеру со светофором. Из трех аспектов этой не слишком сложной и давно привычной нам знаковой системы риторика в первую очередь и по преимуществу интересует *прагматика*, т. е. отношение между знаком и его интерпретаторами. Попросту говоря — как ведут себя те, к кому обращена эта знаковая система. Однако в цели и задачи риторики не входит исключительно лишь наблюдение за действиями интерпретаторов. Одна из ее главнейших задач — усовершенствовать знаковую систему так, чтобы она работала максимально эффективно. Представим себе, что нечто подобное можно проделать со светофором: скажем, зеленый сигнал может дружески подмигивать, а красный — строить угрожающие физиономии. Если же около каждого светофора мы поставим по полицейскому, то это действие не будет *риторическим* и вообще выйдет за пределы *прагматики* знаковой системы. Это будет чем-то сродни приказу, при котором эффективность обеспечена не стратегией и тактикой отправителя сообщения, но действием внешней силы, направленной на адресата. Риторическая же эффективность речи определяется только и только самой этой речью, без поддержки со стороны каких бы то ни было внешних обстоятельств¹⁰.

Рекомендуемая литература

Большое число классических работ по семиотике и лингвопрагматике переведены на русский язык. В первую очередь следует упомянуть классический труд [Моррис 2001] и работу [Грайс 1985], которая подробно рассматривается в тексте главы. По теории речевых актов в первую очередь полезными будут [Остин 1986], [Строссон 1986] и [Серль 1986]. Читающим по-английски я рекомендую работу [Reinhart 1981], посвященную анализу темы высказывания и темы речи с точки зрения лингвопрагматики.

ГЛАВА 5. ЕСТЕСТВЕННАЯ VS КУЛЬТИВИРОВАННАЯ РЕЧЬ

Описание и самописание риторики традиционно предполагает некоторую бинарность. В числе наиболее очевидных оппозиций можно выделить следующие: естественность ↔ искусственность; неукрашенность ↔ украшенность; разговорность ↔ кодифицированность. По этим признакам различаются тексты, продуцируемые вне всякой культивации, вне системы правил, и тексты культивированные, находящиеся в ведении риторики. Разумеется, это разделение весьма относительно: приведенные оппозиции скорее отражают условную риторическую схему, чем описывают реальные речевые ситуации.

Однако и не являются полностью надуманными. Для риторики «точкой отталкивания» является обыденная, естественная речь, т. е. речь спонтанная, явленная, как правило, в устной манифестации. Оппозиция искусственная ↔ естественная речь является для риторики самой важной. Семантика *искусственности* заложена в исходном греческом названии риторики — τέχνη ρητορικῆ. Риторика софистов была направлена исключительно на создание *искусственных* текстов: даже при условии устной манифестации подобные тексты, разучиваемые часто наизусть (напомню, что в античной риторике в «задачи оратора» входила *memoria* — ‘запоминание’; античные теоретики риторики разрабатывали даже специальные мнемонические техники). Таким образом, во время публичного произнесения текста никаких отклонений в сторону спонтанности быть не могло: *отбор слов (lexis)* осуществлялся на стадии подготовки, а не произнесения речи. При чем это касалось не только высокого, но также среднего и простого стилей. Собственно сами стили сформировались не в последнюю очередь именно из потребности возвысить речь оратора над разговорной естественностью [Гаспаров 2000: 444—445]. На первый взгляд кажется, что теория риторики последовательно занимается тем, что расставляет запрещающие знаки на пути спонтанной речи. В извест-

ном смысле так оно и есть: вся риторическая система правил, приемов и запретов служит для того, чтобы дисциплинировать широкий и хаотичный поток живой речи.

В античной риторике за *нулевую ступень* принимается обычная, повседневная речь — то, что передается латинским словом *consuetudo*. Естественная речь оказывается при таком подходе той *нулевой ступенью*, в сравнении с которой и по отношению к которой определяется степень обработанности / украшенности / искусственности текста. Чем больше язык, используемый для написания текста, отличается от естественного, тем больше этот текст *возвышен*. Таким образом, степень *возвышенности* текста определяется использованием языковых единиц, чуждых естественности. Для описания подобных единиц Аристотель использует слово $\xi\epsilon\nu\iota\kappa\acute{o}\nu$ — именно $\xi\epsilon\nu\iota\kappa\acute{o}\nu$ является маркером обработанности текста, его приподнятости, торжественности.

Удаленность от привычного заставляет слог казаться торжественнее; ведь люди получают от слога такое же впечатление, как от чужеземцев по сравнению со своими. По этой причине следует делать язык чуждым ($\xi\epsilon\nu\iota\upsilon$): далекому изумляются, а то, что изумляет, приятно.

Вполне очевидно, что риторическая теория и практика была ориентирована на то, что в современной лингвистической терминологии называется кодифицированным литературным языком. Именно на этом языке должны произноситься речи; тексты именно на этом языке являются для оратора образцовыми, и сама подготовка оратора, так наз. *exercitatio* ориентирована именно на создание текстов на *кодифицированном литературном языке*. Об этом, в частности, вполне определенно говорит Цицерон в диалоге «Об ораторе»:

[X]отъ и полезно говорить часто и без приготовления, однако же гораздо полезнее дать себе время на размышление и зато уж говорить тщательней и старательней. А еще того важнее другое упражнение, хоть оно у нас, по правде сказать, и не в ходу, потому что требует такого большого труда, который большинству из нас не по сердцу. Это — как можно больше писать. Перо — лучший и превосходнейший творец и наставник красноречия; и это говорится недаром. Ибо как внезапная речь наудачу не

выдерживает сравнения с подготовленной и обдуманной, так и эта последняя заведомо будет уступать прилежной и тщательной письменной работе. Дело в том, что когда мы пишем, то все источники доводов, заключенные в нашем предмете и открываемые или с помощью знаний, или с помощью ума и таланта, ясно выступают перед нами и сами бросаются нам в глаза, так как в это время внимание наше напряжено и все умственные силы направлены на созерцание предмета. Кроме того, при этом все мысли и выражения, которые лучше всего идут к данному случаю, поневоле сами ложатся под перо и следуют за его движениями; да и самое расположение и сочетание слов при письменном изложении всё лучше и лучше укладываются в меру и ритм, не стихотворный, но ораторский: а ведь именно этим снискивают хорошие ораторы дань восторгов и рукоплесканий. Всё это недоступно человеку, который не посвящал себя подолгу и помногу письменным занятиям, хотя бы он и упражнялся с величайшим усердием в речах без подготовки. Сверх того, кто вступает на ораторское поприще с привычкой к письменным работам, тот приносит с собой способность даже без подготовки говорить, как по писаному; а если ему случится и впрямь захватить с собой какие-нибудь письменные заметки, то он и отступить от них сможет, не меняя характера речи. Как движущийся корабль даже по прекращении гребли продолжает плыть прежним ходом, хотя напора вёсел уже нет, так и речь в своем течении, получив толчок от письменных заметок, продолжает идти тем же ходом, даже когда заметки уже иссякли [De Or., I, 33, 150—153].

Любопытно, что Аристотель в «Риторике» определяет *эпидейксис*, самый культивированный жанр красноречия, как *письменный* (Rhet. III, 12, 1414a). Разумеется, тщательно культивированный текст возможен лишь в письменной манифестации. Взглянем хотя бы на хрестоматийную «Похвалу Елене» Горгия. Это классический *эпидейксис*, речь напоказ. Текст построен таким образом, что никакое вмешательство в него просто невозможно: знаменитые *горгианские фигуры* позволяют лишь дословно воспроизводить этот текст, но не модифицировать его. Попробуем вставить что-нибудь в «Похвалу Елене» — текст будет полностью разрушен, как разрушается сти-

хотворение при добавлении хотя бы одного лишнего слова. Столь же невозможно введение в текст Горгия маркёров спонтанности, являющихся характерной принадлежностью естественной речи. Речь эта слишком *искусственна*, чтобы допустить включение в себя элементов *естественной разговорности*. «Похвала Елене» — это, так сказать, текст *in vitro*, своего рода лабораторный продукт. В [Беллерт 1978] для обозначения подобного рода речевых произведений использован термин *идеальный текст*. Такого рода *идеальность* связана с коммуникативным заданием эпидейксиса: у автора по определению нет цели казаться искренним, простодушным или слишком взволнованным и оттого неловким в словах, он лишь демонстрирует свое *искусство* — как в античном (τέχνη), так и в современном смысле этого слова.

В «Риторике» Аристотеля — т. е. в тексте, стоящем фактически у истоков красноречия, — мы сталкиваемся с некоторым парадоксом: *естественная речь*, служащая, казалось бы, нейтральным фоном для культивированных текстов, отнюдь не изгоняется из риторики напрочь. Понятие ξεικόν используется Аристотелем преимущественно по отношению к поэтической речи (включающей как собственно поэзию, так и эпидейктическое красноречие):

[В]ещи и лица, о которых идет речь у поэтов, уже очень далеко отстоят от обыденной жизни. В прозе этих возможностей гораздо меньше, ибо предмет низменнее; ведь и там несколько неуместно, чтобы изящную речь повел раб, или человек слишком юный, или говорящий о слишком ничтожных вещах.

Таким образом, во всех видах красноречия, кроме эпидейктического, на ξεικόν накладываются существенные ограничения (вплоть до полного запрета), связанные с коммуникативным заданием речи. Вне эпидейктического красноречия, вне риторической школы речь должна если не быть, то обязательно казаться *естественной*, степень обработанности текста, степень украшенности не должны быть заметны адресату — напротив, тем лучше текст, чем тщательнее замаскированы следы обработки:

Делать это <украшать речь> надо незаметно, чтобы речь казалась естественной, а не искусственной; первое способствует убедительности, второе — напротив, ибо заставляет подозре-

вать нарочитый умысел [...] Хорошо введет в обман тот, кто возьмет для своего сочинения слова из обыденной жизни; так делает Еврипид, и он первым показал возможность этого¹.

Тем самым обыденная, повседневная речь включается в сферу риторики. По Аристотелю, языковые средства, используемые для украшения речи, должны быть прозрачным стеклом, незаметным для слушателя: он должен видеть как бы сквозь них, но ни в коем случае не их самих. Акцентирование языковых средств лишает речь естественности и тем самым — что для риторики самое главное — убедительности:

Облик слога не должен быть ни метрическим, ни лишенным ритма. Первое неубедительно, и притом отвлекает, ибо заставляет следить за возвращениями одних и тех же повышений и понижений.

При устном общении (даже публичном) адресат ждет от говорящего той речи, которая соответствует интуитивному представлению об *устности*. На это ожидание риторика должным образом отреагировала — стилизация речи под неподготовленную (а то и неправильную) стала риторическим приемом. Например, в диалоге Платона «Апология Сократа» выступление Сократа в суде после обвинительных речей начинается с признания в неумении говорить, в полном невладении искусством красноречия. Начало оправдательной речи Сократа наглядно демонстрирует оппозицию — эксплицированную в этом тексте Платоном — *правдивой и украшенной* речи. Тут же отмечается, что украшенная речь сочиняется заранее, а не порождается в процессе говорения. Дальше в речи Сократа следует еще одно важное противопоставление: культивированной речи противопоставляется речь обыденная. Начиная выступление в свою защиту, Сократ предупреждает слушателей:

Только, клянусь Зевсом, афиняне, вы не услышите разнаряженной речи, украшенной, как у них <обвинителей>, разными оборотами и выражениями, я буду говорить просто, первыми попавшимися словами — ведь я убежден в правоте моих слов, — и пусть никто из вас не ждет ничего другого; да и не пристало

бы мне в моем возрасте выступать перед вами, афиняне, наподобие юноши, с сочиненной речью. Но только я очень прошу вас и умоляю, афиняне, вот о чем: услышавши, что я защищаюсь теми же словами, какими привык говорить на площади и у меняльных лавок, и в других местах, не удивляйтесь и не поднимайте из-за этого шума.

Таким образом, в риторике сосуществуют два императива: сделать речь культивированной и скрыть следы культивации. Хорош тот риторический прием, который не выдает в себе приема².

Это одна из центральных проблем риторики, со временем становившаяся всё более запутанным узлом. Для того чтобы попытаться его распутать, нам придется определить несколько ключевых понятий и зафиксировать несколько ключевых позиций.

Во-первых, понятие *разговорной речи*. Я нарочно до этого момента избегала его терминологического употребления, пользуясь — опять же описательно, не терминологически — определениями *спонтанная, обыденная, естественная* речь. Теперь настала пора этот термин ввести.

Разговорная речь стала предметом специального лингвистического изучения относительно недавно — во второй половине XX в. В результате многолетних исследований группой ученых Института русского языка РАН под руководством Е. А. Земской была создана теоретическая концепция, в основе которой лежала гипотеза о том, что разговорная речь (РР) является подсистемой литературного языка, противопоставленной по лингвистическим и экстралингвистическим признакам другой его подсистеме — кодифицированному литературному языку (КЛЯ). Возможность выделения РР в отдельную подсистему дает ряд ее структурных особенностей. Прежде чем перейти к их рассмотрению, необходимо определить те экстралингвистические факторы, которые необходимы и достаточны для порождения РР. Во-первых, это неофициальная ситуация общения, во-вторых — неформальные и достаточно близкие (родственные или дружеские) отношения между коммуникантами, в-третьих, непосредственный контакт коммуникантов.

Особенности, отделяющие РР от КЛЯ, можно задать списком.

1. Для РР характерно наличие так называемых *маркёров порождения речи* — тех единиц, которые в обиходе принято называть сло-

вами-паразитами. В русском языке есть три устойчивых маркёра порождения речи — инициальное *ну*, финальное *вот* и интерфразовое *значит*. Помимо этих трех существуют и другие маркёры: *как бы*, *короче*, *это самое*, *так сказать* и т. п. Свое название они получили потому, что они помогают говорящему порождать речь в той ситуации, когда она заранее не подготовлена.

2. Типичной чертой РР является наличие *пауз хезитации*. Эти паузы отличаются от смысловых тем, что они не сознательно используются говорящим, а появляются там, где в процессе речи возникает сбой: говорящий либо сбился с синтаксической структуры, либо подбирает нужное, либо задумался, что сказать дальше.

3. Наличие *фальстартов* имеет ту же природу, что и паузы хезитации: фальстарт случается из-за того, что говорящий, начав фразу, сбился и начал ее заново. Сбой может быть вызван как тем, что говорящий по ходу речи решил перестроить синтаксическую структуру высказывания, либо просто допустил обмолвку. (См. подробнее в [Дараган 2002]).

4. Синтаксис РР отличается от синтаксиса КЛЯ не только гораздо менее глубоким ветвлением синтаксического дерева, но и некоторыми структурными особенностями. В РР часто встречаются синтаксические конструкции, невозможные и/или недопустимые в КЛЯ.

5. Для РР характерно заметное увеличение доли номинатива по сравнению с КЛЯ. Общей тенденцией РР является тяготение к синтаксическим структурам с именительным падежом и избегание — где и когда это возможно — косвенных падежей.

6. С предыдущим связано наличие в РР так называемого *именительного темы* (или *лекторского именительного*), когда существительное (или группа существительного) употребляется перед местоимением, которое его (или ее) заменяет.

7. Доля генитива, напротив, в РР заметно сокращена по сравнению с КЛЯ. Генитивные цепочки (несколько родительных падежей подряд) в РР почти полностью отсутствуют.

8. Для РР характерны так называемые *косвенные номинации*: *дай чем писать; у тебя открыты есть?; где у нас итуковина эта?*

9. Опять же в области лексики для РР характерно образование некоторых единиц, не присутствующих в КЛЯ, например, *универбатов*, которые образуются путем соединения в одном слове существительного и определяющего его прилагательного: *встречка* — ‘встречная полоса’, *обоюдка* — ‘обоюдная вина’ и т. п.

10. В области фонетики для РР характерно беглое произношение (так наз. *аллегротормы*): *что мне тот чек скал, то и я вам грю*. (Подробнее о характерных чертах РР [см. Земская 1987]).

Помимо оппозиции *разговорность* ↔ *кодифицированность*, для риторики чрезвычайно важную роль играет еще одна оппозиция: *устность* ↔ *письменность*, о которой говорил, в частности, Цицерон в процитированном выше фрагменте. С включением в область риторического письменных текстов (т. е. текстов, обращенных к читающему, а не к слушающему) классическое риторическое требование уместности осложнилось еще одной проблемой: соответствие текста устной или письменной манифестации. Во время полемики о природе и специфике РР (конец 70-х — начало 80-х гг. XX в.) возник вопрос, непосредственно относящийся к риторике: что такое устная публичная речь (т. е. самый древний и самый несомненный объект изучения риторики) — жанр РР или жанр КЛЯ? Безусловно, устная манифестация накладывает на публичную речь очень существенный отпечаток — в ней возможны обмолвки, паузы гезитации, фальстарты, нарушение синтаксической структуры и т. п. Однако в отличной статье [Земская, Ширяев 1980] весьма убедительно показано, что устная публичная речь (УПР) является жанром КЛЯ, а не РР, хотя не исключает — а порой и требует — некоторых черт, присущих последней.

[Н]аиболее резко противостоит РР устная речь, которая обнаруживается как речь публичная и для которой характерен такой набор признаков: 1) имеется один говорящий (назовем его оратор) и много слушающих; 2) мена ролей говорящий — слушающий невозможна [...] или встречается крайне редко: возможность задать вопрос оратору или лектору воспринимается как исключение на фоне монологической речи одного лица [...]; 3) отношения между говорящими и слушателями официальные, причем для них характерна неравноправность ролей в акте коммуникации; 4) тема — фиксирована. [...] Однако устная публичная речь не настолько контрастна по отношению к РР как, например, такие сугубо кодифицированные стили, как деловой или письменный научный. Это объясняется тем, что ряд признаков акта коммуникации при устной публичной речи обнаруживает разные возможности проявле-

ния. И при некоторых из этих возможностей устная публичная речь, сохраняя в неприкосновенности свою кодифицированную основу, может принимать некоторые разговорные компоненты. К числу таких переменных коммуникативных признаков принадлежат: 1) подготовленность — речь оратора обычно бывает подготовленной, обдуманной, но может протекать и как относительно свободная импровизация; лектор, докладчик могут только в общих чертах продумать композицию своего выступления, наметить лишь его смысловую канву; многое зависит от языковых творческих особенностей выступающих: чем более склонен выступающий к импровизации, тем больше в его выступлении заранее не планируемых фрагментов, в которых разговорные черты могут проявляться резче, чем в планируемом тексте; 2) непосредственность общения — общение может быть непосредственным, двусторонним в том случае, когда оратор видит реакцию слушателей и реагирует на нее [...]; но общение бывает односторонним, когда оратор полностью лишен контакта с аудиторией (выступление по радио или телевидению); 3) связь с ситуацией — она полностью отсутствует в некоторых видах публичной речи [...]. Менее контрастны по отношению к РР те виды устной публичной речи, которые являются не монологическими. Это все типы речи, которым при официальной обстановке и отношений между говорящими свойственна мена ролей говорящий / слушающий, но которые протекают как речь, предназначенная для публики — многочисленных слушателей. Такая речь представляет собой: 1) беседу двух лиц (интервьюируемый и ведущий интервью); следовательно, она является диалогом или диалогизированным монологом; 2) для нее характерна непосредственность общения; 3) она чаще может протекать как речь спонтанная, неподготовленная. Кроме этих черт, сближающих названные типы публичной речи с речью разговорной [...] таким жанрам публичной речи, как интервью, беседа ведущего с каким-либо лицом и т. п., свойственна установка на интимизацию общения, призванная оживить беседу, сделать ее более близкой слушателям, что порождает использование целого ряда специальных приемов, многие из которых берутся из арсенала РР [Земская, Ширяев 1980: 63].

Тут важно обратить внимание на два обстоятельства: во-первых, некоторые виды УПР в силу экстралингвистических причин максимально приближаются к РР, оставаясь всё же в зоне КЛЯ; во-вторых, у говорящих может быть *сознательная* установка на сближение УПР и РР. В этом, вообще говоря, заключен парадокс ораторского искусства: с одной стороны, ставится задача построить речь, отличающуюся от обыденной разговорности, с другой стороны — приблизить речь к разговорности, тем самым делая ее более непринужденной и искренней.

Разговорная речь, имеющая более низкий статус, чем КЛЯ и лишенная какого бы то ни было места в словесности, изначально была именно той точкой, в отталкивании от которой все виды *словесности* как раз и зарождались: они должны были *отличаться* от РР. Поэтому поэзия исторически старше прозы. Это сегодня, в эпоху сформировавшихся литературных жанров, может казаться (и, как правило, кажется), что стихотворение написать труднее, чем, скажем, рассказ. Иными словами, кажется, что хотя бы плохой рассказ напишет любой, а вот даже для плохого стихотворения нужны хоть какие-то, но способности. Однако поначалу, когда никакой системы жанров вовсе не было, дело обстояло противоположным образом: написать стихотворение было проще, потому что оно *заметнее отличается от РР* и автор знает, *как и из чего его делать*. Конечно, из *сора*, но сор этот, переработанный, преобразенный в стихи, перестает быть сором именно потому, что над ним произведена некоторая работа, которая производится по определенным законам — законам стихосложения. Для грека это очень важно: знать *закон*.

С другой стороны, с точки зрения грека *сочиняет* (в современном смысле слова) не поэт — поэт лишь истолкователь того, что говорит — диктует — Муза. Но понятно, что Муза разговаривает не на РР, а на совершенно особом, совершенно отличном от человеческого, языке — на языке *надчеловеческом*, за который очень легко принять поэзию и очень сложно прозу. Опять-таки в силу явного отличия первой от РР и неявного — второй.

У прозы нет метрики, нет размера, нет, строго говоря, *закона*, поэтому гораздо труднее ее культивировать: нужна какая-то более тонкая — и гораздо менее видимая глазу — «система настроек». Но задача остается той же самой: *культивировать* речь означает — в первую очередь и прежде всего — *возвысить ее над РР*.

Вообще говоря, мсье Журден, до сорока с лишним лет не знавший, что говорит прозой, был не столь далек от истины. Заблуждался скорее мсье Мольер, который полагал, что мы *говорим* прозой (т. е. по умолчанию исходил из того, что есть только КЛЯ, на котором можно делать что угодно — писать рассказы, очерки, романы, философские трактаты, научные книжки, нежные письма, бытовые записки, доносы, личный дневник, а также выступать в парламенте, произносить проповедь, докладывать начальству, признаваться в любви, болтать в дружеском кругу, распекать кухарку — и всё это будет *проза*. Что и смутило мсье Журдена, которому — как *наивному носителю языка* — интуитивно было понятно, что тут что-то не так.

Из этого же интуитивного понятия исходили и греческие отцы-основатели риторики: если риторика есть *искусство* (в смысле τέχνη), то текст, написанный *по правилам* этого искусства, заведомо должен быть отличен от разговорного. Риторика там, где произведено некоторое сознательное усилие по культивации текста. Риторика — это выучка (знание правил плюс навык) и ориентация на *образцовые тексты*, которые, конечно же, ни в коем случае не есть тексты разговорные: это культивированные тексты, являющиеся эталонными для этой конкретной культуры.

Полушутливое определение М. Л. Гаспарова «*Риторика — это когда сначала думают, а потом говорят*» можно понимать не только в смысле ‘подумай, о чем сказать’, но и ‘подумай, как сказать’. И это *думание, как сказать* естественным образом разрушает *спонтанность речи* — необходимое условие порождения РР. Из этого интуитивно исходил и мсье Журден: поскольку он говорит спонтанно, как же это говорение может проходить по ведомству прозы — жанра, требующего сознательного усилия?

Очень показательны в этом отношении легендарные речи Горгия с использованием не менее легендарных «горгианских фигур»: культивированная речь в чистом виде, совершенный артефакт, радикальнейшим образом порывающий со всяким подобием РР (точнее сказать, со всяким подобием спонтанности). Горгианские фигуры не могут спонтанно возникать по ходу речи, они могут быть только заранее включены в текст. Мало того: сам этот текст может быть только чистой репродукцией. Его нельзя произнести «по ходу дела», его можно лишь заучить наизусть (как в ситуации античной риторики) или прочитать с листа (как мы можем это сделать сегодня).

Тут сразу следует заметить, насколько подобные вещи культурно (и хронологически) обусловлены: сегодня текст, культивированный так, как это делал Горгий, вообще невозможен в УПР: он будет выглядеть в лучшем случае фальшиво, в худшем — просто-напросто комично. Вопрос об отношении РР к риторике нельзя решить раз и навсегда: разные культурные конвенции предполагают разные решения этой проблемы.

У риторики нет Музы, риторю никто не диктует. Ему помогает единственное: владение *τέχνη*, т. е. мастерством, искусством, если угодно — ремесленным навыком. Камень есть творение природы. Каменная скульптура — результат *τέχνη*. Спонтанная речь — тоже творение природы. Речь ораторская — такой же результат *τέχνη*, как скульптура. Там, где достаточно спонтанного навыка, никакая *τέχνη*, никакая выучка, а значит, никакая риторика вовсе не нужна — таков был традиционный взгляд классической риторики.

Рекомендуемая литература

Читателю, незнакомому с понятием *русская разговорная речь*, я в первую очередь рекомендую работу [Земская 1987]. Также весьма полезными могут быть коллективные монографии [Разговорная речь 2003а] и [Разговорная речь 2003б]. Непосредственно риторическую проблематику затрагивает статья [Земская, Ширяев 1980].

ГЛАВА 6. ИМПЛИЦИТНАЯ СЕМАНТИКА КАК РИТОРИЧЕСКИЙ ПРИЕМ

Есть такой процедурно несложный лингвистический эксперимент, который называется ассоциативным. Информанты перед экспериментом получают инструкцию: *В медленном темпе вам будут прочитаны отдельные слова. Ваша задача — записать произнесенное экспериментатором слово и то слово или словосочетание, которое вам пришло в голову по ассоциации с произнесенным.* Допустим, мы предъявили информантам семь слов: *лиса, чиновник, сентябрь, чукча, Турция, блондинка, оливье.* Если этот небольшой эксперимент мы проведем с большим количеством информантов, то, обработав результаты, мы увидим такую картину: для каждого слова, которые мы предъявляли (они называются слова-стимулы), будут устойчиво повторяться те слова, которые информанты писали по ассоциации с ним (так называемые слова-ассоциаты). Легко прогнозировать эти устойчиво повторяющиеся ассоциаты для каждого из стимулов: *лиса* — *хитрая, хитрость; чиновник* — *коррупция, взятка, бюрократ; сентябрь* — *осень, школа; чукча* — *анекдот; Турция* — *отдых; блондинка* — *глупость, красота; оливье* — *Новый год, майонез.* Наряду с ними будут, конечно, и другие ассоциаты — менее частотные и вовсе единичные. Почему же разным людям приходят в голову одни и те же ассоциаты? Очевидно, они связаны в сознании носителей языка со словом-стимулом. Такого рода устойчивые ассоциаты называются в лингвистике *коннотациями.*

Коннотации — те образные представления, которые связываются в сознании носителей языка с объектом, обозначенным данной лексемой, но не входят непосредственно в ее значение. [...] Коннотации лексикализованы, т. е. ассоциируются с предметом действительности не прямо, а через его языковое обозначение. Поэтому даже у близких синонимов они могут быть различны [НОСС 2003: XXIX].

Коннотации представляют собою вид прагматической информации, принадлежащей не отдельному носителю языка, а всему языковому сообществу или же достаточно большой его части. Некоторые из коннотаций настолько устойчивы, что фиксируются в системе языка в качестве переносных значений (например, *осел* — *упрямство*, *свинья* — *нечистоплотность*)¹.

Коннотации языковой единицы являются важной — и, возможно, одной из главных — составляющих прагматики знака: интерпретатор знаковой системы извлекает из коннотаций порою больше информации, чем из основного значения слова².

Наличие коннотаций со всей очевидностью показывает, что естественный язык есть знаковая система, способная к вторичному означиванию. В этом его принципиальное отличие от искусственных языков, где у каждого знака есть одно строго фиксированное значение. Так устроен, в частности, язык логики. Логическое понятие мы можем задать списком существенных признаков и тем самым формализовать. Например, понятие *мужчина* легко задается тремя существенными признаками: ‘человек’ + ‘самец’ + ‘взрослый’. Если убрать хотя бы один из этих признаков, понятие *мужчина* разрушится³. С помощью этого набора признаков мы сейчас описали то, что в лингвистике называется *денотативным значением* слова, или *денотатом*. В семантической структуре каждой лексической единицы присутствует денотат в качестве устойчивого, постоянного ядра и более или менее диффузное поле коннотаций, которое весьма неоднородно по своему составу. Для идеального говорящего и идеального слушающего слово *мужчина* означает именно совокупность перечисленных выше признаков — не меньше, но и не больше. Однако реальные говорящий и слушающий пользуются лексической единицей *мужчина* отнюдь не как простым набором необходимых семантических признаков. Ведь носителю русского языка вполне понятны высказывания типа *Он поступил не по-мужски*, при этом он отнюдь не понимает это высказывание в значении ‘он поступил не как взрослый самец человека’. В русском языке слово *мужчина* имеет определенный набор коннотаций, обусловленных, если угодно, культурным кодом, которые присутствуют в сознании носителей языка, когда они произносят или слышат высказывания типа только что приведенного.

Понятие *коннотации*⁴ было использовано Луи Ельмслевом в работе «Пролегомены к теории языка» (1943)⁵. Строго говоря, Ель-

мслев не использует термин *коннотация*, он говорит о *денотативной* и *коннотативной семиотике*. Семиотика является денотативной, «если ни один из ее планов не является семиотикой [Ельмслев 1960: 369]. Коннотативной Ельмслев называет ту семиотику, план выражения которой является семиотикой. Иными словами, денотативная семиотика выражает первичные значения, коннотативная — вторичные. В предметное поле риторики это понятие было введено Роланом Бартом, развивавшим идеи Луи Ельмслева, в статье «Риторика образа» (1964). Здесь Барт на примере рекламы показывает, как риторическое воздействие на адресата осуществляется с помощью коннотаций.

Перед нами реклама фирмы «Пандзани»: две пачки макарон, банка с соусом, пакетик пармезана, помидоры, лук, перцы, шампиньон — и все это выглядывает из раскрытой сетки для провизии; картинка выдержана в желто-зеленых тонах; фон — красный. Попробуем выделить те сообщения, которые, возможно, содержатся в данном изображении. Первое из этих сообщений имеет языковую субстанцию и дано нам непосредственно; оно образовано подписью под рекламой, а также надписями на этикетках, включенных в изображение на правах своего рода «эмблем»; код этого сообщения есть не что иное как код французского языка; чтобы расшифровать подобное сообщение, требуется лишь умение читать и знание французского. Впрочем, языковое сообщение также может быть расчленено, поскольку в знаке «Пандзани» содержится не только название фирмы, но — благодаря звуковой форме этого знака — и еще одно, дополнительное означаемое, которое можно обозначить как «итальянскость»; таким образом, языковое сообщение (по крайней мере в рассматриваемом изображении) носит двойственный — одновременно денотативный и коннотативный — характер. [...] Знания, которых требует этот знак, более специфичны: это сугубо «французские» знания (сами итальянцы вряд ли смогут ощутить коннотативную окраску имени собственного *Пандзани* [...]) [Барт 2008: 253—254].

В этой рекламе с формальной точки зрения нет ни слова неправды: потенциальному покупателю нигде прямо не сообщают о том, что продукты и фирма итальянские («Пандзани» — фирма

французская). Однако коннотативный ряд подводит адресата именно к выводу о том, что перед ним итальянская продукция. Причем коннотации содержит не только языковой код, но и визуальный: цвета, в которых выполнена реклама, это цвета итальянского флага. Барт связывает риторiku с идеологией и показывает механизм их взаимодействия. Вообще сверхзадача Барта — семиотическое разоблачение идеологии, вскрытие ее механизмов, обнажение приема. Именно для этой цели он показывает, как работает риторика и какими формальными приемами обеспечивается ее эффективность:

[И]деология как таковая воплощается с помощью коннотативных означающих, различающихся в зависимости от их субстанции. Назовем эти означающие *коннотаторами*, а совокупность коннотаторов — *риторикой*: таким образом, риторика — это означающая сторона идеологии. Риторики с необходимостью варьируются в зависимости от своей субстанции (в одном случае это членораздельные звуки, в другом — изображения, в третьем — жесты и т. п.), но отнюдь не обязательно в зависимости от своей формы; возможно даже, что существует единая риторическая *форма*, объединяющая, к примеру, сновидения, литературу и разного рода изображения. Таким образом, риторика образа (иначе говоря, классификация его коннотаторов), с одной стороны, специфична, поскольку на нее наложены физические ограничения, свойственные визуальному материалу (в отличие, скажем, от ограничений, налагаемых звуковой субстанцией), а с другой — универсальна, поскольку риторические «фигуры» всегда образуются за счет формальных отношений между элементами. Такую риторiku можно будет построить, лишь располагая достаточно обширным инвентарем, однако уже сейчас нетрудно предположить, что в нее окажутся включены фигуры, выявленные в свое время Древними и Классиками; так, помидор обозначает «итальянскость» по принципу метонимии; на другой рекламной фотографии, где рядом изображены кучка кофейных зерен, пакетик молотого и пакетик растворимого кофе, уже сам факт смежности этих предметов обнаруживает между ними наличие логической связи, подобной асиндетону. Вполне вероятно, что из всех метабол (фигур, построенных на взаимном заме-

щении означающих) именно метонимия вводит в изображение наибольшее число коннотаторов и что среди синтаксических фигур паратаксиса преобладает асиндетон (Курсив и подчеркивание Барта. — Э. К.) [Барт 2008: 271].

Риторическая функция коннотаций особенно очевидна в области синонимических средств языка (на которую — как наиболее важную для риторики — обратил свой исследовательский интерес еще софист Продик): лексемы одного синонимического ряда могут иметь совершенно различные, вплоть до прямо противоположных, коннотации. Два примера такого рода приведены в [Апресян 1995б]: *осел* — *ишак* и *инициатор* — *зачинщик* — *застрельщик*. Осел коннотирует упрямство (как правило, глупое и бессмысленное), *ишак* — готовность безропотно выполнять тяжелую работу [Апресян 1995б: 172]. В тройке лексем *инициатор* — *зачинщик* — *застрельщик* первая не является коннотатором, в то время как две другие обладают отрицательными и положительными коннотациями соответственно [Апресян 1995б: 136]. В отличие от нейтрального *инициатора* *зачинщик* имеет коннотативную семантику ‘инициатор X-а и это плохо’, а *застрельщик* — ‘инициатор X-а и это хорошо’⁶.

Если само явление коннотативной семантики универсально и присуще всем естественным языкам, то в разных языках лексемы с одинаковым значением имеют разные коннотации. Интересный с этой точки зрения пример приведен в [Voroditsky 2008]. Калифорнийской фирме, специализирующейся на производстве сухофруктов, пришлось приложить большие усилия и преодолеть множество формальностей, чтобы переименовать *чернослив* в *сушеную сливу*. После того как процедура переименования была завершена, продажи продукта резко возросли. При этом содержимое пакетиков осталось тем же самым, изменилась только надпись на них. Что произошло и что заставило производителя совершить кропотливую процедуру переименования продукта? Проблема была именно в тех коннотациях, которые есть у слова *чернослив* в американском английском: *чернослив* коннотирует проблемы с пищеварением, с которыми сталкиваются в основном старики. У именной группы *сушеная слива* подобных коннотаций нет. Разумеется, потребителю приятнее покупать тот продукт, который не ассоциируется со слабительным. В русском языке у лексемы *чернослив* таких коннотаций нет. В языковом сознании носителей русского

языка чернослив ассоциируется с понятием полезности, без спецификаций относительно работы желудочно-кишечного тракта⁷.

Разница в коннотативной семантике различных языков становится особенно очевидной, когда мы пытаемся рассказать анекдот на родном языке иностранцу, даже вполне хорошо владеющему нашим языком. Дело в том, что очень большую долю анекдотов составляют те, которые строятся на использовании сильных коннотаторов, и именно коннотативная семантика порождает комический эффект. Например, в русском языке на протяжении многих десятилетий существуют анекдоты про чукчу. Юмор этих анекдотов отлично понятен носителям русского языка, при этом смеются над подобными анекдотами и сами их с удовольствием рассказывают сплошь и рядом те люди, которые в жизни не видели чукчу и очень туманно представляют себе, как он выглядит. Но с чукчей — как персонажем анекдотов, а не представителем этноса — связан устойчивый набор коннотаций, который и создает комический эффект. Когда носитель русского языка слышит начало анекдота *Приезжает чукча в Москву*, у него уже есть определенные ожидания и прогноз того, как этот персонаж поведет себя в анекдоте⁸. То же самое касается анекдотов про другие этнические группы, которые являются традиционными персонажами русского анекдота. При этом есть набор — очень небольшой — национальностей, представители которых попали в русские анекдоты и стали их привычными персонажами: это те национальные типы, которые в русском языке являются сильными коннотаторами. *Встречаются русский, хохол и еврей* — и мы знаем, чего ждать от этого анекдота. Попробуем произвести замену: *Встречаются чех, швед и португалец*. Совершенно непонятно, чего ждать от такого анекдота и в чем там будет комизм⁹.

Теперь рассмотрим другой лингвистический механизм выражения имплицитной семантики.

Представим себе, что мы видим написанную вне всякого контекста фразу: *Джон развёлся с Мэри, продал свою машину и уехал из Пало-Альто*. Попробуем посмотреть на нее внимательно и узнать всю информацию, которая в ней заключена. Что мы совершенно точно знаем, помимо прямо утверждаемых в высказывании факта развода, продажи машины и отъезда? Во-первых, что Джон был женат по крайней мере один раз; во-вторых, Мэри не умерла в то время, когда находилась в браке с Джоном; в-третьих, у Джона была машина;

в-четвертых, он жил (или находился) в Пало-Альто. Причем все перечисленные четыре факта мы знаем совершенно достоверно, в отличие от таких гипотетических допущений, как «Джон развелся с Мэри потому, что они не сошлись характерами», «Джон продал машину, потому что ему срочно нужны были деньги», «Джон уехал из Пало-Альто, потому что нашел хорошую работу в Бостоне». Что нам дает основания быть уверенными в истинности первых четырех утверждений? Очевидно, что семантика тех лексических единиц, из которых состоит рассматриваемая фраза. В самом деле: во-первых, развестись может только женатый; во-вторых, развестись можно только с живой женой; в-третьих, продать можно только то, что имеешь; в-четвертых, нельзя уехать из места, в котором никогда не находился. Глагол *развестись* презумпирует 'прежде быть женатым' и т. д. Такого рода презумпции, заключенные почти в каждом высказывании на естественном языке, получили в лингвистике название *пресуппозиции*. Перечисленные выше пресуппозиции являются примерами *семантических пресуппозиций*, которые константны и не зависят от того, кем, когда и зачем было сделано высказывание. Помимо этого существуют прагматические пресуппозиции, которые переменны и зависят от общего для говорящего и слушающего контекста и/или общих фоновых знаний. Если семантические пресуппозиции существуют объективно и обусловлены природой языковых единиц, то прагматические пресуппозиции презумпируются адресантом. Например, в императиве *Достань из холодильника сметану* есть прагматическая пресуппозиция 'сметана находится в холодильнике', но нет такой семантической пресуппозиции, тогда как в высказывании *Он достал из холодильника сметану* есть семантическая пресуппозиция 'сметана находилась в холодильнике'¹⁰.

Семантическая пресуппозиция может быть вычленена с помощью процедуры семантического анализа высказывания вне того экстралингвистического контекста, в котором это высказывание было осуществлено. Поэтому, строго говоря, семантические пресуппозиции имеются только в утверждениях, но не в вопросительных предложениях и императивах. В самом деле, высказывание *Джон развелся с женой* семантически презумпирует 'Джон был женат' (Ср. **Джон, который никогда не был женат, развелся с женой* или **Джон развелся с женой, хотя никогда не был женат*). Вопрос же *Джон развелся с женой?* семантически не презумпирует 'Джон был женат', поскольку

ответ *Джон не был женат* не делает вопросительную реплику аномальной. То же касается и императива: *Разведись с женой!* не становится семантически аномальным при ответной реплике *Я вообще не женат*. Вопросы и императивы могут иметь только прагматические пресуппозиции, которые не выводятся путем семантического анализа высказывания.

По всей видимости, впервые на наличие в естественном языке подобного явления обратил внимание Готлоб Фреге в работе «Смысл и денотат» (1892):

Если мы беремся утверждать что-либо, то мы всегда заранее предполагаем, что употребленные нами простые и сложные собственные имена все без исключения имеют денотат. Если, например, мы утверждаем:

(1) *Кеплер умер в нищете,*

то при этом исходим из предпосылки, что имя *Кеплер* обозначает нечто; но именно поэтому мы не можем считать, что в смысл предложения (1) входит суждение ‘имя Кеплер обозначает нечто’. Если бы это было так, то отрицанием этого предложения было бы не (2), а (3):

(2) *Кеплер не умер в нищете;*

(3) *Кеплер не умер в нищете, или имя Кеплер ничего не обозначает.*

То, что имя *Кеплер* имеет денотат, является предпосылкой [Voraussetzung] как для утверждения (1), так и для утверждения (2).

В данной связи возникает следующая трудность. Естественные языки обладают тем недостатком, что они допускают выражения, которые облечены в правильную грамматическую форму и потому представляются имеющими некоторый денотат (как бы обозначают некоторую вещь), хотя в действительности денотата у них может и не быть, так как это зависит от истинности некоторого другого предложения [Фреге 1997: 367—368].

В английском переводе этой работы Фреге слово *Voraussetzung* передано как *presupposition*. Видимо, отсюда и пошел термин пресуппозиция.

Современная лингвистическая семантика под термином *пресуппозиция* понимает «компонент смысла предложения, который должен

быть истинным для того, чтобы предложение не воспринималось как семантически аномальное или неуместное в данном контексте» [Падучева 2000: 396]. Например, предложение *Иван знает, что Горбачев — президент России* следует признать семантически аномальным из-за ложного суждения *Горбачев — президент России*, противоречащего семантике фактивного¹¹ глагола *знать*, включающей в себя пресуппозицию истинности суждения. Семантическая аномалия возникает при употреблении любого фактивного глагола, как когнитива (в приведенном примере — *знать*), так и эмотива: *Иван гордится, что Горбачев — президент России*. Если мы заменим фактивный глагол на нефактивный, высказывание тут же перестанет быть семантически аномальным: *Иван думает, что Горбачев — президент России*. Из приведенного определения следует, что пресуппозиции не подвергаются отрицанию в отрицательных высказываниях. Высказывания *Студент знает, что генеративную грамматику придумал Хомский* и *Студент не знает, что генеративную грамматику придумал Хомский* содержат одну и ту же пресуппозицию ‘генеративную грамматику придумал Хомский’. Таким образом, через этот имплицитный семантический компонент мы получаем информацию о создателе генеративной грамматики независимо от знания / незнания студента.

В высказывании присутствуют два семантических компонента — ассерция, т. е. эксплицитно выраженная семантика, и пресуппозиция, имплицитно присутствующая семантика. В высказывании Я забыл зонтик в трамвае ассертивно выражено то, что зонтик забыт, и презумпировано, что зонтик был у говорящего при посадке в трамвай.

О том, как использует пресуппозиции риторика, большинство из нас узнаёт в том возрасте, когда сами слова *риторика* и тем паче *пресуппозиции* едва ли знакомы. *Ты перестала пить коньяк по утрам?* — спрашивает Карлсон у фрекен Бок, утверждавшей, что на любой вопрос можно ответить «да» или «нет». Риторическая победа Карлсона очевидна, как очевидно и то, что «да» или «нет» можно ответить лишь в том случае, если факт утренних коньячных возлияний имел место. Другими словами, вопрос Карлсона уже включает в себя прагматическую пресуппозицию ‘фрекен Бок пила по утрам коньяк’, поскольку семантика глагола *перестать* предполагает, что действие имело место в прошлом.

Один из самых знаменитых софизмов — «Рогатый» — построен на семантической пресуппозиции глагола *терять*:

Всё, что ты не потерял, у тебя есть.

Ты не потерял рога.

Значит, они у тебя есть.

С точки зрения лексической семантики большая посылка силлогизма — *всё, что ты не потерял, у тебя есть* — вообще избыточна, поскольку меньшая — *ты не потерял рога* — содержит пресуппозицию ‘у тебя есть рога’. Вполне очевидно, что высказывание *ты не потерял рога* совершенно бессмысленно по отношению к тому, у кого их не было.

Использование пресуппозиций в софизмах ясно показывает, что наличие имплицитной семантики интуитивно осознавалось и тогда, когда не только не существовало самих этих понятий, но не было вообще самостоятельной науки о языке (хотя есть все основания считать софистов первыми европейскими лингвистами). Античные риторы хорошо понимали, что почти в каждом высказывании есть нечто имплицитное, что понимается говорящим и воспринимается слушающим.

Одно из свойств пресуппозиций заключается в том, что пресуппозиция — это имплицитный семантический компонент высказывания, не выраженный в нем явно. Это свойство особенно важно для риторики, поскольку подразумеваемое, в отличие от выраженного эксплицитно, не воспринимается адресатом как явная пропаганда, как настойчивое навязывание адресантом своей точки зрения.

Именно поэтому пресуппозиции часто используются в рекламе, в частности политической. В парламентской предвыборной кампании 1993 г. был такой рекламный ролик: на полу в большой комнате сидят мальчик лет шести-семи и сенбернар: по комнате ходят взрослые, которые, как можно понять из их действий, собираются уходить; мальчик вздыхает и говорит псу: «А нас с тобой не берут голосовать за “Выбор России”». Высказывание включает очевидную пресуппозицию: ‘взрослые идут голосовать за «Выбор России»’. Ее презумпцирует глагол *брать (с собой)*: высказывание *X взял с собой Y-а* содержит пресуппозицию *X ушел / уехал*. (Ср. **Он взял меня с собой в Париж, а сам не поехал*). Кроме того, высказывание мальчика *нас с тобой не берут голосовать* содержит импликацию ‘и говорящий об этом жалеет’, т. е. ‘мы с тобой тоже хотели бы проголосовать за эту партию’. Таким образом, в этом ролике избран наиболее мягкий вариант

агитации по сравнению с возможными *Я голосую за «Выбор России!»* или прямым императивом *Голосуйте за «Выбор России!»*

Ноам Хомский [Chomsky 1980] толкует пресуппозиции более широко, чем изложено выше. Терминологически вместо пары *ассерция — пресуппозиция* он использует пару *фокус — пресуппозиция*. *Фокус* — это новая информация, которая сообщается в высказывании. В устной речи фокус соответствует интонационному центру высказывания. Если в высказывании *Джон потерял ключ* интонационным центром является *Джон*, то семантические составляющие будут выглядеть так: *Джон* — фокус, *некто потерял ключ* — пресуппозиция. Если интонационным центром будет *потерял ключ*, то, соответственно, *потерял ключ* — фокус, *Джон сделал нечто* — пресуппозиция. И третий из возможных вариантов — интонационным центром является *ключ*. В этом случае *ключ* — фокус, пресуппозиция — *Джон потерял нечто*.

В фокусе может быть и высказывание целиком, если всё оно сообщает новую для слушающего информацию. Посмотрим, как ведет себя одно и то же высказывание в разных контекстах:

(1) *Что вчера произошло?*

Джон избил полицейского.

(2) *За что арестован Джон?*

Джон избил полицейского.

(3) *Кто избил полицейского?*

Джон избил полицейского.

В примере (1) фокус совпадает с высказыванием, в (2) *избил полицейского* — фокус, *Джон сделал нечто* — пресуппозиция, в (3), соответственно, *Джон* — фокус, *некто избил полицейского* — пресуппозиция.

Как правило, слушающий обращает внимание в первую очередь на то, что фокусируется говорящим, при этом пресуппозиция принимается по умолчанию. Например, во время публичной дискуссии после высказывания *Именно генерал X несет ответственность за пытки военнопленных* полемика развернется вокруг того, что фокусируется — на ответственности генерала X, а не на том, что презумпировано наличие пыток военнопленных. Психолингвистические эксперименты¹² показывают, что пресуппозиции весьма часто не про-

сто принимаются слушающим на веру, но и сохраняются в памяти не хуже тех семантических компонентов, которые были фокусированы говорящим. Например, если задать свидетелю вопрос *Как выглядел человек, сидящий рядом с водителем?*, высока вероятность, что свидетель в дальнейших показаниях будет исходить из того, что рядом с водителем находился пассажир, даже если свидетель и не обратил внимания на то, было ли занято кресло рядом с водителем.

Эффективность использования как коннотаций, так и пресуппозиций обусловлена тем, что в большинстве случаев адресат (как единичный, так и коллективный) не любит, когда его явно в чем-то убеждают или явно навязывают некоторую точку зрения. ИмPLICITно выраженная семантика является, так сказать, более мягко действующим средством и поэтому встречает гораздо меньше сопротивления, чем то, что выражено эксплицитно.

Рекомендуемая литература

Литература, посвященная проблеме коннотативных значений, весьма обширна. Я рекомендую прежде всего работу Ю. Д. Апресяна «Коннотации как часть прагматики слова», опубликованную в [Апресян 1995б] и статью [Ревзина 2001] (там же — литература по вопросу). Проблема пресуппозиций с точки зрения риторики рассматривается в [Колесникова 2003].

ГЛАВА 7. ВОЗМОЖНА ЛИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ РИТОРИКА?

Риторика придумали греки, само слово греческое, понятие *τέχνη* — входившее в первоначальное название дисциплины — греческое тоже, внешние факторы, стимулировавшие ее бурное развитие, были также типично греческими — прямая афинская демократия и правовой быт Афин. Потом культурное первенство у греков перехватили римляне, риторика заговорила по-латыни, а ее терминология обильно пополнилась латинскими словами. Со временем риторика научилась национальным европейским языкам, в первую очередь и главным образом французскому, но почти в полной неприкосновенности сохранила внутри себя свою ядерную греко-римскую структуру. И греки, и латиняне тщательно и подробно разрабатывали теорию риторики *для себя*, совершенно не задумываясь о проблеме ее переводимости и трансляции в другие языки и культуры. Такой проблемы для них попросту не существовало.

Сегодня же неизбежно возникают два взаимосвязанных вопроса: возможна ли универсальная риторика, которой может пользоваться любая культура, и возможна ли некоторая, если угодно, кросскультурная риторика?

Начнем со второго вопроса и попробуем его специфицировать. Можем ли мы осуществлять речевое воздействие, говоря на иностранном языке? Зависит ли успех / неуспех лишь от степени владения этим языком? Понятны ли нам риторические тексты на чужих языках, если этими языками мы прилично владеем? А если мы читаем их в переводе — не имеем ли мы дело до известной степени с фикцией?

Бернар Лами начинает вторую главу своей «Риторики» с примечательного рассуждения:

Раз слова являются обозначениями понятий, приходящих нам на ум, можно сказать, что они подобны картине наших мыслей,

язык — кисти, эту картину рисующей, слова же суть краски. Как художник не кладет на холст красок прежде, чем в мыслях своих не создаст представления о том, что ему хотелось бы изобразить на картине, так, прежде чем говорить, следует сформировать верный образ того, о чем мы думаем и что хотим нарисовать словами нашими. Те, кто слушает нас, не смогут воспринять с точностью то, что мы хотим сказать им, если мы с совершенной точностью не сможем воспринять это сами. Речь наша — лишь копия с оригинала, каковым является наш разум, и не бывать хорошей копии, если оригинал дурен. Прежде всего следует работать над оригиналом. Перед тем как действовать кистью, то есть языком, и использовать краски, то есть слова, нужно в точности знать то, о чем нам хочется сказать, и расположить это складно, так, чтобы речь верным образом передавала наши мысли и читатель смог бы увидеть убедительную картину образов, которые мы хотели ему представить [Лами 2002: 62].

В своем чудесном трактате Лами поднимает, в сущности, одну из центральных проблем лингвистики: проблему языка и мышления. В наиболее сфокусированном виде эта проблема изучается в рамках методологической модели, известной под названием *гипотезы Сепира-Уорфа*, или *гипотезы лингвистической относительности*. Ниже я постараюсь изложить ее основные тезисы.

Важнейшей характеристикой культуры является то, как язык этой культуры концептуализирует окружающий мир, т. е. *означивает* его. По всей видимости, реально для нас только то, что названо, поименовано в языке: явление, свойство, понятие могут действительно существовать лишь тогда, когда в языке для них есть соответствующие единицы, когда они каким-то образом означены. Отсутствие же имени говорит о том, что в этой культуре люди не умеют вычленять соответствующий объект. Мы видим, знаем, понимаем лишь то, что умеем называть на своем языке, — в этом смысле носители разных языков, глядя на одну и ту же действительность, видят за ней немного разные миры. Близкородственные языки задают похожие картины мира, далекие языки порождают картины мира весьма и весьма несходные между собой. «Миры» итальянца и испанца, поляка и украинца гораздо ближе друг к другу, чем «миры» китайца и немца,

грузина и шведа. То, насколько культуры локальны, замкнуты или, напротив, разомкнуты, транспарентны, непосредственным образом связано с тем, насколько *проницаемы* друг для друга языки, обслуживающие эти культуры.

Вильгельм фон Гумбольдт метафорически уподоблял язык кругу, описанному вокруг человека. Выйти из этого круга можно единственным способом: перейти в другой круг, очерченный другим языком. Когда мы изучаем иностранный язык, перед нами, вообще говоря, выбор двух возможностей: остаться в своем «круге» и перенести свою языковую картину мира на новую почву или же постараться проникнуть в новый «круг», т. е. освоить то мировидение, которое свойственно говорящим на изучаемом нами языке. Гумбольдт исходил из той же посылки, что и А. А. Потебня: язык не просто «выражает» мысль — язык создает ее. Значит, наука о языке может дать нам что-то большее, чем одно лишь описание системы и структуры языка.

Осмысление и обсуждение проблемы культуры и общества в терминах и категориях лингвистики заманчиво и рискованно в одно и то же время. Заманчивость этого понятна: едва ли можно мыслить культуру вне и без того языка, который эту культуру обслуживает. Едва ли можно понять всё, что происходит с обществом и в обществе, не обращаясь к тому языку, на котором оно говорит. Сколь бы ни были сложны и разнообразны другие семиотические системы — например, «языки» искусства: живопись, архитектура, фотография, кино, — они, тем не менее, будучи частью той или иной национальной культуры, оказываются в то же время частью культуры языковой, даже если заведомо невербальны. Мы можем со- и противопоставлять, например, немецкую и французскую музыку или грузинскую и польскую архитектуру лишь в том случае, если у нас есть определенные (чаще эксплицитированные, но порой и имплицитные) представления о немецкой, французской, грузинской и польской культуре *en général*, а это общее представление связано с языком и в огромной степени определено именно им.

Столь же очевидна и рискованность лингвистического подхода к этой проблеме. Строго говоря, лингвистика и по сей день не в состоянии ответить на те вопросы, которые могут быть поставлены перед ней в свете обозначенной проблемы. Начать с того, что механизмы влияния языка на «свою» культуру нам до сих пор не вполне ясны: гипотеза Сепира-Уорфа так и осталась *гипотезой*, хотя в последние десятилетия лингвистика существенно продвинулась на этом пути.

Эдвард Сепир и Бенджамин Ли Уорф исходили из того, что структура языка определяет структуру мышления и способ познания действительности — собственно, эта идея и вошла в лингвистику под названием *гипотезы Сепира-Уорфа*, или *гипотезы лингвистической относительности*.

В статье «Статус лингвистики как науки» (1929) Сепир выдвинул ряд принципиальных тезисов. Они сводятся к следующему.

Понять культуру нельзя на основе «чистого наблюдения», но лишь через язык — структурные стереотипы всякой цивилизации обусловлены и упорядочены языком. Изучать культуру в отрыве от языка столь же наивно и абсурдно, как изучать исторический документ, не понимая языка, на котором он написан. Люди живут не только и не столько в материальном мире и в мире социальных отношений: они живут в мире своего языка, в его, так сказать, власти. Язык по отношению к действительности не является чем-то внешним.

Миры, в которых живут различные общества, — это разные миры, а вовсе не один и тот же мир с различными навешанными на него ярлыками. [...] Даже сравнительно простой акт восприятия в значительно большей степени, чем мы привыкли думать, зависит от наличия определенных социальных шаблонов, называемых словами [...] Мы видим, слышим и вообще воспринимаем окружающий мир именно так, а не иначе главным образом благодаря тому, что наш выбор при его интерпретации предопределяется языковыми привычками нашего общества.

Как видим, Сепир пытается опровергнуть следующее представление: у нас есть единая для всех действительность, для описания которой в мире существуют различные языки; все они описывают ровно одно и то же, лишь «разными словами» — один и тот же объект можно назвать по-русски сыр, по-французски *fromage*, по-немецки *Käse*, по-грузински *kveli*, и ничего не изменится; для другого объекта существует другой набор обозначений: *хлеб* — *pain* — *Brot* — *puri*; различные языки — как бы различные наборы этикеток, «знать язык» — значит уметь сопоставлять этикетки из одного набора этикеткам из другого. Но в том-то всё и дело, что одинаковыми эти этикетки можно считать лишь условно! Даже такие «простые», повседневные слова,

как *сыр* или *хлеб*, значат что-то не «сами по себе», а лишь внутри той или иной культуры. Один из показателей различий в значениях — то поле коннотаций, которые сопутствуют слову в конкретном языке. По данным Словаря ассоциативных норм русского языка, слово хлеб порождает следующие ассоциации: у русских — *белый, соль, масло, насыщенный, черствый, булка, вкусный, свежий*; у немцев — *есть, масло, каравай, пицца, голод*; у французов — *вино, белый, есть, голод, хлебный мякиш*; у поляков — *насыщенный (powszedni), ржаной, масло, черствый, свежий*.

Непохожие друг на друга языки, повторюсь, формируют у своих носителей слишком разные картины мира. При этом картина мира столь глубоко укоренена в нас, что осознать и эксплицировать ее — не такая уж тривиальная задача. Представим, что перед нами положили чистый лист бумаги и попросили: опишите свою картину мира. Что мы напишем на этом листе? С чего начнем? Что посчитаем самым главным? Едва ли найдется человек, чья рефлексия по поводу собственной картины мира столь сильна, что задание покажется ему элементарным. Скорее большинство из нас не только затруднится с ответом, но вообще будет туманно представлять себе, чего же именно от нас добиваются.

Языковая картина мира является для нас как бы прозрачным стеклом, и мы видим не его, но сквозь него, самого этого стекла как бы даже и не замечая. Самый надежный способ научиться его замечать — взглянуть на мир сквозь другое стекло.

Это и предпринял Уорф. Он занялся сравнительным изучением, с одной стороны, европейских языков, собранных им в условную группу, названную «среднеевропейским стандартом» (далее — SAE, от Standard Average European), с другой — хопи, одного из индейских языков. Сопоставление столь различных языков особенно наглядно показывает, что мы говорим так или иначе о мире не только потому, что мир «в самом деле» такой: мы видим его таким потому, что так говорим и думаем. Уорф приводит многочисленные примеры. В SAE есть множество слов для обозначения отрезка времени: *лето, зима, сентябрь, утро, полдень*. Наличие этих языковых единиц объективирует обозначенные ими явления: для носителей SAE лето и утро являются не просто какими-то языковыми условностями, они реально существуют. В языке хопи существительных, подобных только что перечисленным, не существует вовсе. Эти понятия выражаются в языке

хопи особой частью речи типа *когда утро*. Носитель хопи не только не может говорить фраз типа *жаркое лето* или *хмурое утро* — он не может так думать. Лето для него не может быть жарким, поскольку оно само в сознании носителя языка хопи отсутствует в качестве объективной реальности — лето лишь тот период, когда жарко. Отсутствие языковых единиц для обозначения отрезков времени привело к тому, что в языке хопи не был создан абстрактный термин, подобный слову *time* в SAE.

А есть ли такие слова, которые во всех языках означают одно и то же? Слова, для которых выполняется следующее идеальное условие: если русское слово X_1 соответствует французскому X_2 , английскому X_3 , немецкому X_4 , польскому X_5 , то для любого языка мы найдем X_n с тем же самым значением, т. е. будет справедливо равенство $X_1 = X_2 = X_3 = X_4 = X_5 = \dots = X_n$? Ведь если бы все слова некоторого языка не имели точного аналога в других языках, мы не смогли бы понимать друг друга. Между тем из опыта мы знаем, что носители разных языков могут — и достаточно успешно — общаться между собой.

О том, что в самых разных языках существуют слова с универсальным, единым для всех языков значением, догадывались еще задолго до появления лингвистики в качестве самостоятельной дисциплины. Но какие именно это слова? С помощью каких процедур их можно выявить? И вообще можно ли задать их, что называется, списком?

Исследованием этой проблемы более сорока лет занимается Анна Вежбицка. В 1970—1980 гг. она разработала специальный язык, состоящий из относительно небольшого числа слов, значение которых самоочевидно и не требует толкования. Важно, что эти слова (так называемые *семантические примитивы*) имеются во всех языках. Семантические примитивы представляют собою настолько простые лексемы, что их значение не может быть истолковано с помощью других лексем того же языка. Семантические примитивы не зависят от конкретной культуры — на каком бы языке ни были произнесены слова хотеть или хороший, они будут означать ровно то же самое: *хороший* = *good* = *bon* = *bueno* = *buono* = *gut* = *kargi*, и так для всех существующих на свете языков. Все те единицы, которые «выше» семантических примитивов, т. е. имеют более сложную семантическую структуру, уже являются культурно обусловленными. Естествен-

ный семантический метаязык (ЕСМ) представляет как бы *чистую* семантику, *in vitro*, вне культурной обусловленности, вне каких бы то ни было коннотаций.

С помощью последовательно применяемого метода интроспекции Вежбицкой удалось показать весьма тонкие различия между лексическими единицами различных языков — теми единицами, которые традиционно считаются взаимным переводом друг друга. Например, русское *грусть* и английское *sadness*; русское *гнев* и английское *anger*; немецкое *angst*, французское *angoisse* и русское *тревога*; русское *воля* и польское *wolność* и т. п. Для каждой подобной единицы записывается так называемый когнитивный сценарий, т. е. толкование на языке семантических примитивов. ЕСМ оказывается едва ли не единственным инструментом, способным эксплицировать подчас весьма тонкие различия в семантике сопоставляемых единиц.

Список семантических примитивов сегодня имеет следующий вид:

я, ты, некто / лицо, нечто / вещь, люди, тело
 этот, тот же, другой
 один, два, несколько / немного, весь / все, много / многие
 хороший, плохой, большой, маленький
 думать, знать, хотеть, чувствовать, видеть, слышать
 сказать, слово, правда
 делать, произойти / случиться, двигаться
 есть (иметься), иметь
 жить, умереть
 не, может быть, мочь, потому что / из-за, если, если бы
 когда / время, сейчас, после, до, долго, недолго, некоторое время
 где / место, здесь, ниже / под, выше / над, далеко, близко, сто-
 рона, внутри
 очень, больше
 вид / разновидность, часть
 вроде / как

С помощью фраз, записанных на языке семантических примитивов, можно толковать смысл других слов, причем это справедливо для любого языка. Вежбицка предлагает такой способ толкования лексики исходя из очевидного картезианского принципа: всякое объ-

яснение есть сведение неизвестного к известному. Метод, предложенный Анной Вежбицкой, позволяет сравнивать между собою не только отдельные слова, но и культуры в целом — одна из ее книг так и называется «Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики». Значение и употребление слов (и единиц больших, чем слово) обусловлено конкретной культурой и характеризует ее. С помощью ЕСМ можно описывать не только отдельно лексику, но модели культурного поведения в целом, поскольку эти модели непосредственным образом выражены в языке.

Рассмотрим типичный риторический речевой жанр — жанр извинения. С детства ребенка учат, что, если он кого-то задел, доставил кому-то неудобство, провинился, перед этим человеком следует извиниться. Извинения кажутся нам естественной, неотъемлемой частью поведенческой нормы и речевого этикета. Причем мы «по умолчанию» полагаем извинение универсальным человеческим действием: мы умеем извиняться не только на родном языке, но и на тех иностранных языках, на которых хоть худо-бедно, но говорим.

Однако носители разных культур (соответственно, и разных языков) извиняются по-разному. В одной из работ Вежбицка показала те различия, которые наблюдаются в сценариях извинения в разных культурах, в частности в евро-американской (т. е. в САЕ, в терминологии Уорфа) и японской.

Как правило, японцам бросается в глаза то обстоятельство, что европейцы извиняются редко и в очень ограниченном количестве ситуаций. Конечно же, *редко* и *ограниченном* с японской точки зрения. В качестве одного из примеров Вежбицка приводит наблюдения японского психиатра Такео Дои:

Дои описывает эпизод из жизни американского психоаналитика в Японии, которому из-за какой-то оплошности, допущенной им при проведении проверки, «был сделан выговор официальным лицом из иммиграционного бюро». Сколько он ни объяснял, что в случившемся не было его вины, служащий не был удовлетворен до тех пор, пока психоаналитик, исчерпав другие возможности, не произнес в качестве прелюдии к дальнейшему препирательству: “I’m sorry”, — после чего выражение лица его собеседника резко изменилось, и дело было без

лишних хлопот улажено. Дои заключает свои рассуждения характерным замечанием о том, что «люди на Западе... вообще говоря, не очень-то склонны извиняться».

Разумеется, верно и обратное: европейцу и американцу кажется, что японцы извиняются слишком часто и в очень большом количестве ситуаций, т. е. тогда, когда в евро-американской культуре извиняться не принято. Это очень наглядно демонстрирует пример, приводимый Вежбицкой: две японские вдовы опубликовали открытое письмо жителям северной части Австралии с принесением своих извинений за «неудобства», причиненные гибелью их мужей в гоночной катастрофе. С точки зрения европейца, в этой ситуации извинение не просто *излишне*, оно *неуместно*. Вот еще один пример, совсем свежий. 22 июля 2013 г. на станции метро в японском городе Сайтама женщина оступилась и провалилась в щель между поездом и платформой. Около сорока пассажиров оттолкнули вагон и помогли женщине выбраться. Спасенная принесла свои извинения пассажирам и работникам метрополитена.

Такая разница в культурах объясняется тем, что за одним и тем же вербальным действием (принесением извинений) в евро-американской и японской культурах стоят разные когнитивные сценарии. Японский сценарий на ЕСМ может быть записан следующим образом:

я сделал нечто
нечто плохое случилось из-за этого
я чувствую нечто плохое из-за этого
я должен нечто сделать из-за этого

Сценарий евро-американской культуры существенно отличается от японского. Это отличие обусловлено, вообще говоря, не тем, что японец извиняется чаще, чем евро-американец, — японец извиняется иначе. Сам речевой жанр извинения для японца наполнен другим содержанием. Евро-американец, как правило, извиняется в том случае, если «что-то плохое» случилось по его вине, даже обычно по прямой, а не косвенной; если подобной вины он за собою не чувствует, евро-американец выбирает принципиально иную модель речевого поведения: он не извиняется, а оправдывается, т. е. отводит от

себя обвинения и/или претензии. Японская же культура накладывает запрет на использование в речевой практике самооправданий. Этот сценарий выглядит следующим образом:

когда кто-то говорит мне что-то вроде:
«ты нечто сделал
из-за этого случилось нечто плохое (с кем-то / со мной)»
хорошо сказать этому человеку что-то вроде:
«из-за этого я чувствую нечто плохое»
плохо сказать этому человеку что-то вроде:
«я не сделал ничего плохого»

При этом важно заметить, что японец не просто *использует подобный тип речевого поведения*, он, с точки зрения Вежбицкой, думает именно так.

Сегодня почти невозможно отыскать работу на русском языке, посвященную проблеме *языка и культуры* (или же *языка и мышления*), в которой не было бы ссылок на Анну Вежбицкую — или содержательных, или ритуальных. При этом авторитетом Вежбицкой и разработанным ею естественным семантическим метаязыком подкрепляется и/или доказывается тезис о культурных *различиях*, выраженных в языке или порожденных языком. В этом заключен некоторый парадокс, который присутствует и внутри теоретической модели самой Вежбицкой: возможность построения ЕСМа говорит в первую очередь о том, что в основе всех естественных языков лежат *универсальные* семантические единицы, тогда как различия между языками носят *частный* характер. Причем сама Вежбицка абсолютно четко формулирует эту мысль: «Если мы допустим [...], что, во-первых, у всех языков есть общее ядро (как в лексиконе, так и в грамматике), что, во-вторых, это общее ядро является врожденным [...], и что, в-третьих, это общее ядро может использоваться как своего рода мини-язык для того, чтобы сказать всё, что мы пожелаем, то мы увидим, что дверь, ведущая “за пределы языка”, уже открыта» [Вежбицкая 2001a: 48—49].

Я подозреваю, что если попросить атрибутировать приведенную выше цитату людей, более или менее знакомых с современной лингвистикой, многие из них припишут ее Ноаму Хомскому: идея об универсальности и врожденной языковой способности (*language*

acquisition device) — явная отсылка к исходным пунктам его генеративной грамматики. Парадокс, собственно говоря, заключается в том, что, положив эти идеи в основу ЕСМа, в дальнейшем Вежбицка стала активным и очень энергичным противником Хомского и генеративистов вообще. Однако, если отбросить идею о глубинном сходстве всех естественных языков и понятие врожденной языковой способности, разваливаются и методологические предпосылки естественного семантического языка.

Особым образом следует остановиться на понятии *языковой картины мира*, введенном Лео Вайсгербером. Это понятие позволило (отчасти даже заставило) переместить фокус внимания с проблемы «язык и мышление» на проблему языковой концептуализации действительности. Сегодня понятие языковой картины мира (ЯКМ) чрезвычайно популярно в русской гуманитарной науке. Действительно, есть большой соблазн использовать ЯКМ в качестве некоторой методологической рамки, применимой к самому широкому спектру исследований. Однако в этом есть определенный методологический парадокс: само наличие у человека и/или социума ЯКМ, являясь чистой гипотезой, оказывается в то же время теоретическим фундаментом, над которым надстраиваются дальнейшие рассуждения.

Чтобы объяснить суть ЯКМ как методологического постулата, удобно прибегнуть к метафоре «фонологического сита», введенной в обиход фонетистов и фонологов Н. С. Трубецким:

Фонологическая система любого языка является как бы ситом, через которое просеивается всё сказанное. Остаются только самые существенные для индивидуальности данной фонемы звуковые признаки. Всё прочее отсеивается в другое сито, где остаются признаки, существенные для апеллятивной функции языка; еще ниже находится третье сито, в которое отсеиваются черты звука, характерные для экспрессивной функции языка. Каждый приучается с детства анализировать речь подобным образом, и этот анализ осуществляется автоматически и бессознательно. Однако система «сит», делающая возможным такой анализ, в каждом языке строится по-разному. Мы усваиваем систему родного языка. Слушая чужую речь, мы при анализе слышимого произвольно используем привычное нам «фонологическое сито» своего родного языка. А поскольку

наше «сито» оказывается неподходящим для чужого языка, постольку возникают и многочисленные ошибки, недоразумения. Звуки чужого языка получают у нас неверную фонологическую интерпретацию, так как они пропускаются через «фонологическое сито» нашего родного языка [Трубецкой 2000: 57].

Перцептивная система родного языка на входе перекодирует фонетические единицы, и мы слышим не то — по крайней мере, не вполне то — что сказано на чужом языке. Например, в русском языке нет среднеязычного бокового сонанта [λ], который есть в испанском языке, и носители русского языка воспринимают его как сочетание [l] + [j] (среднеязычный сонант) в испанских словах типа *llorar*, *llueve*. В свою очередь носители испанского языка воспринимают русское сочетание *l+j* как [λ] и соответственно так и произносят. Скажем, если мы попросим не говорящего по-русски испанца написать имя *Илья*, он запишет его как *Illa*, расслышав там среднеязычный боковой сонант. Или же испанский интервокальный [b] (как в слове *abuela*) носитель русского языка воспринимает как [v] — [avuela]. Таких примеров можно привести бесконечное множество из самых разных пар языков. Слыша отсутствующую в родном языке фонетическую единицу, мы перекодируем ее на более или менее подходящую единицу нашего родного языка.

Для объяснения того, что такое ЯКМ, удобно воспользоваться метафорой сита (я искренне удивляюсь, что авторам ни одной из известных мне работ, посвященных этой проблематике, не пришло в голову это сделать). С той лишь разницей, что в ЯКМ работает не фонологическое, а семантическое сито: семантические единицы иностранного языка мы, пропустив сквозь это сито, заменяем эквивалентными единицами родного языка, однако проблема в том, что эта эквивалентность не более чем иллюзия. Например русское слово *друг* лишь весьма условно соответствует английскому *friend*, стало быть, фразы *Иван — мой друг* и *John is my friend* означают, вообще говоря, весьма разные вещи. (Этот пример подробно разбирается в [Вежицкая 2001a]). Для каждой ЯКМ можно выделять так называемые *ключевые слова*, которые семантически нагружены специфическим для этой культуры образом и являются ее важнейшими характеристиками. Автором классических работ по этой проблематике является опять же

Анна Вежбицка (в частности, [Вежбицкая 2001а, б]). Многие исследователи непосредственно возводят свои труды к гипотезе Сепира-Уорфа:

Представление о языковой концептуализации мира, специфичной для каждого отдельного языка и находящей отражение в особенностях пользующейся этим языком культуры, не являются чем-то новым. Они восходят к идеям Гумбольдта, получившим свое крайнее выражение в рамках знаменитой гипотезы Сепира-Уорфа. Но не случайно именно в настоящее время эти идеи вновь обретают популярность. Современные методы изучения лексической семантики и результаты, полученные при их применении к материалу русского языка, показывают, что значение большого числа лексических единиц (в том числе и тех, которые на первый взгляд кажутся имеющими переводные эквиваленты в других языках) включает в себя лингвоспецифичные конфигурации идей. При этом нередко обнаруживается, что эти конфигурации смыслов соответствуют каким-то представлениям, которые традиционно принято считать характерными именно для «русского» взгляда на мир [Шмелев 2002: 12—13].

Рассмотрим еще одно важное методологическое замечание:

[...] представления, формирующие картину мира, входят в значения слов в неявном виде, так что человек принимает их на веру, не задумываясь. Иначе говоря, пользуясь словами, содержащими неявные смыслы, человек, сам того не замечая, принимает и заключенный в них взгляд на мир. Напротив того, смысловые компоненты, которые входят в значение слов и выражений в форме непосредственных утверждений, могут быть предметом спора между разными носителями языка и тем самым не входят в общий фонд представлений, формирующий языковую картину мира. Так, из русской пословицы *Любовь зла, полюбишь и козла* нельзя сделать никаких выводов о месте *любви* в русской языковой картине мира, а можно лишь заключить, что *козел* предстает в ней как малосимпатичное существо [Зализняк et al. 2005: 9].

Попробуем — всерьез и без иронии — посмотреть на место *козла* в русской ЯКМ. Действительно, приведенная авторами фраза презумпирует малосимпатичность *козла*. Однако, если мы чуть внимательнее присмотримся к этой лексической единице, мы заметим, что в рассматриваемом контексте (как и во многих аналогичных ему) лексема *козел* обнаруживает одновременно большую семантическую нагруженность и крайнюю семантическую опустошенность: с одной стороны, с ее помощью можно выразить очень широкий спектр пейоративных значений, с другой стороны, *козел* означает лишь ‘кто-то плохой’ — и не больше. Употребление лексемы *козел* в подобных контекстах ровно ничего не сообщает об отношении к этому животному в русской культуре. Скажем, *жил-был у бабушки серенький козлик* носителю русского языка не придет в голову интерпретировать как ‘жило-было у бабушки маленькое серое несимпатичное животное’. Еще более выразителен пример с лексемой *собака*: *вот собака, весь день мне испортил!* — говорит человек, любящий собак и даже держащий собаку у себя в доме. Едва ли в момент произнесения этой фразы он думает, что собака представляет собою «малосимпатичное животное». Если мы углубимся в историю языка, мы наверняка обнаружим причины, по которым некоторые лексемы получили пейоративное значение. Но именно в этом заключена методологическая проблема, на которую весьма часто закрывают глаза сторонники понятия ЯКМ: невозможно сопоставлять диахронию и синхронию. Если когда-то в истории языка некоторая лексема L имела пейоративное значение или отрицательные коннотации, которые вошли в пословицы, поговорки и клишированные выражения, это не означает, что она сохраняет их и сегодня¹. Эти пословицы, поговорки и клишированные выражения представляют собою, так сказать, остывшие формы, уже никак — или почти никак — не влияющие на современную семантику лексической единицы.

Анализируя проблему изучения японской картины мира, В. М. Алпатов весьма убедительно показывает, что исследования в области ЯКМ

при многих полученных интересных результатах не могут быть по строгости и доказательности сопоставлены с работами по фонологии или компаративистике [...]. [С]ам отбор фактического материала может подчиняться заранее извест-

ным результатам и подгоняться под них. Это не удивительно, поскольку пока нет строгого научного метода, позволяющего интерпретировать эти факты [...]. Многие лингвисты отмечают неразработанность метода и, как следствие, неубедительность многих построений и выводов в данных исследованиях. Известный лингвист А. Я. Шайкевич недавно наполовину в шутку, наполовину всерьез предложил объявить на некоторое время мораторий на сам термин «языковая картина мира». И еще одна проблема: как отделить современную картину мира от сохранившихся в языке реликтов представлений людей прежних эпох [Алпатов 2008: 61] со ссылкой на [Шайкевич 2005²].

Разумеется, перед античными теоретиками риторики не стояло и в принципе не могло стоять вопроса ни о «языковых картинах мира», ни о межкультурной коммуникации: вся классическая риторическая теория сосредоточена исключительно на коммуникации внутри одной культуры — греческой, затем латинской. Означает ли это, что греко-латинская модель нормативной риторики применима только лишь к античной культуре (и к европейской как ее прямой наследнице), а за ее пределами перестает работать и теряет всяческий смысл? В более широкой перспективе этот вопрос поставил Эмиль Бенвенист в работе «Категории языка и категории мысли»:

Языковая форма является [...] не только условием передачи мысли, но прежде всего условием ее реализации. Мы постигаем мысль уже оформленной языковыми рамками. Вне языка есть только неясные побуждения, волевые импульсы, влияющие в жесты и мимику. Таким образом, стоит лишь без предвзятости проанализировать существующие факты, и вопрос о том, может ли мышление протекать без языка или обойти его, словно какую-то помеху, оказывается лишенным смысла. [...] [П]роблема принимает следующий вид. Целиком признавая, что мысль может восприниматься, только будучи оформленной и актуализированной в языке, следует поставить вопрос: есть ли у нас основания признать за мышлением какие-либо особые свойства, которые были бы присущи только ему и которые ничем не были бы обязаны языковому выражению? Мы можем описать язык ради него самого. Точно так же надо

было бы добираться и непосредственно до мышления. Если бы можно было определить мысль перечислением исключительно ей присущих признаков, мы тотчас увидели бы, как она соединяется с языком и какова природа отношений между ними [Бенвенист 1998: 105—106].

Поставив вопрос в этой плоскости, Бенвенист обращается к категориям Аристотеля и показывает, что «категории мышления» на самом деле представляют собою транспозиции грамматических категорий древнегреческого языка. Это, однако, отнюдь не означает, что древнегреческий язык предполагает (или детерминирует) определенный тип мышления, свойственный только его носителям.

Неоспоримо, что в процессе научного познания мира мысль повсюду идет одинаковыми путями, на каком бы языке ни осуществлялось описание опыта. И в этом смысле оно становится независимым, но не от языка вообще, а от той или иной языковой структуры. Так, хотя китайский образ мышления и создал столь специфические категории, как дао, инь, ян оно от этого не утратило способности к усвоению понятий материалистической диалектики или квантовой механики, и структура китайского языка не служит при этом помехой. Никакой тип языка не может сам по себе ни благоприятствовать, ни препятствовать деятельности мышления. Прогресс мысли скорее более тесно связан со способностями людей, с общими условиями развития культуры и с устройством общества, чем с особенностями данного языка. Но возможность мышления вообще неотрывна от языковой способности, поскольку это структура, несущая значение, и мыслить — значит, оперировать знаками языка [Бенвенист 1998: 114].

Если мы внимательно посмотрим на классические тексты античной теории риторики, в частности, на «Риторику» Аристотеля, мы без особого труда обнаружим, что метаязык этой теории является «специфически» древнегреческим и перевести его на другие языки можно лишь с большей или меньшей долей условности. Возьмем почти наугад фрагмент аристотелевской «Риторики»:

Относительно речи (λόγος) существуют три вещи, которые должны быть обсуждены: во-первых, откуда берутся средства убеждения (πίστεις), во-вторых, о слоге (λέξις), в-третьих, о порядке, в котором надо располагать части речи (Rhet., III, 1403b1).

В одном небольшом абзаце мы видим сразу три типично греческих понятия — λόγος, πίστεις, λέξις, и подобного рода понятиями пронизан весь текст «Риторики». Однако вся древнегреческая «специфичность» метаязыка отнюдь не означает, что с помощью него описываются некоторые реалии, неизвестные другим культурам и не существующие в них. Само понятие *эффективной речи* есть — неважно, эксплицитно выраженное или имплицитно присутствующее — в любой культуре, даже в той, на язык которой словосочетание *эффективная речь* невозможно перевести.

Рекомендуемая литература

Читателю, незнакомому или знакомому поверхностно с гипотезой лингвистической относительности, я прежде всего рекомендую I выпуск «Нового в лингвистике» [НЛ 1960], содержащий три статьи Бенджамина Ли Уорфа, а также аналитическую работу [Звягинцев 1960]. Из современных работ — [Бурас, Кронгауз 2011]. На английском языке есть хорошая научно-популярная книга [Deutscher 2010] с большой библиографией по вопросу. Проблема языковой картины мира на русском материале рассматривается, в частности, в [Шмелев 2002], на японском — в [Алпатов 2008]. Методология изучения культур через ключевые слова изложена в [Вежбицкая 2001а, б]. Точка зрения противников гипотезы лингвистической относительности наиболее четко, аргументированно и последовательно высказана в [Пинкер 2004].

ГЛАВА 8. РИТОРИКА

КАК ВРОЖДЕННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Мы составляем речи, которые не просто сообщают другому о внешних целях, а позволяют ему заглянуть в самую глубину нашей души; мы возбуждаем самые разнообразные страсти, подкрепляем или упраздняем решения относительно морали и побуждаем собравшуюся толпу к совместным действиям. Всё самое великое и самое ничтожное, самое чудесное, неслыханное и даже невозможное и немислимое с одинаковой легкостью слетает у нас с языка.

Фридрих Шлегель

Античная теория риторики достаточно хорошо показывает неоднородность предмета изучения этой науки. Фактически под именем риторики уже в ее греко-римский период объединились тесно связанные между собой, но всё же разные предметные области.

Во-первых, это *риторика как искусство убеждения*. Именно эта риторика изучала правила и приемы построения политических и судебных речей, т. е. отвечала за совещательное и судебное красноречие. Эта риторика абсолютно прагматична и никакой ценности вне достижения конкретной коммуникативной цели не имеет.

Есть, во-вторых, и другая риторика — риторика, заведомо лежащая по ту сторону практического интереса. Это *риторика красивой речи*, если угодно, *ars ornate dicendi*. Эта риторика всякий раз рецидивировала как часть теории литературы, изящной словесности, исключая из поля своего зрения такие понятия, как *убеждающая* или *эффективная речь*.

Но в античную эпоху существовала, в-третьих, еще одна риторика, сумевшая пройти почти незамеченной: *риторика, изучающая механизм(ы) речевого воздействия*. Гениальные интуиции о такой

риторике встречаются у Аристотеля, позже частично разрабатываются ранними стоиками. Эта риторика — область чистой теории, по ней невозможно обучиться ораторскому мастерству, как невозможно заговорить на иностранном языке, прочитав описание его синтаксической структуры. Но без этой теоретической составляющей риторика выпадает из области научного знания, оставаясь лишь на уровне практических руководств.

Современные попытки определить предметное поле риторики сводятся — не всегда, но как правило — к удалению из этого поля того, что риторикой не является. Именно так выстраивает определение риторики В. Н. Топоров в Лингвистическом энциклопедическом словаре:

Риторика — филологическая дисциплина, изучающая способы построения художественно выразительной речи, прежде всего прозаической и устной; близко соприкасается с поэтикой и стилистикой. Поскольку предметом риторики является прозаическая «украшенная», т. е. художественная, речь и правила ее построения (порождения), риторика противостоит поэтике, изучающей поэтическую речь, грамматике, ориентированной на изучение «естественной» (эстетически не отмеченной) речи, и герменевтике, имеющей дело с пониманием текста [Топоров 2000].

Хорошо видно, что определение Топорова как в целом, так и в частности противоречит тому минималистскому определению, которое я дала в начале книги и из которого исходила на протяжении всего изложения: *риторика — наука об эффективной речи*. Наиболее явным образом сути риторики противоречит утверждение о ее сосредоточенности — пусть и с оговоркой «преимущественно» — на устной речи: это было уже не вполне так в ее классическом, греко-латинском изводе, а начиная с эпохи Средневековья уже принципиально не так. Письменные речевые жанры прочно вошли в предметное поле риторики, более того — они весьма существенно потеснили устные жанры и до сих пор экспансия письменных текстов в риторическую область продолжается. Люди говорят больше, чем пишут, но у сказанного по определению более узкая аудитория, чем у написанного. С приходом в нашу жизнь интернета количество дискуссий и полемик (два вполне риториче-

ских жанра), которые мы каждый день имеем возможность *прочесть*, несопоставимо с количеством тех же дискуссий и полемик, которые мы можем *услышать*. То же касается и монологических жанров: публицистических статей мы читаем больше, чем слышим публичных выступлений. На первый взгляд может показаться, что исключение из области риторики поэтических текстов вполне разумно, однако и это не столь очевидно: существуют и всегда существовали поэтические тексты, которые находятся в непосредственном ведении риторики. Причем поэтический текст может быть как написан с заведомо риторической целью, так и использован в риторических текстах постфактум¹.

Риторика была школой активного владения словом, грамматика — школой пассивного владения словом; этим и определялся рубеж между двумя науками. Целью риторики было тройное умение «убедить», «усладить» и «увлечь» слушателя. Целью грамматики было более скромное умение «правильно писать и говорить», а также «толковать поэтов» (*Haec igitur professio ... in duas partes dividatur, recte loquendi scientiam et poetarum enarrationem*, — Quint., I, 4, 2) [Гаспаров 1986: 93].

Однако именно *recte loquendi* оказалась той точкой пересечения, где грамматике и риторике было очень сложно размежеваться. Особенно остро это касалось теории фигур, которую относили к своей предметной области и риторика, и грамматика. Великолепная идея грамматика IV в. Доната отдать *фигуры слова* грамматике, а *фигуры мысли* риторике, ни поддержки, ни тем более развития не получила, и в этой области продолжалось столкновение двух древнейших наук о языке и речи.

Одновременно с действием «бинарного принципа» в риторике обнаруживается и противоположная тенденция: стирание границ между традиционными оппозициями, включение в сферу риторики того, что в классической модели к ней не относилось — напротив, выводилось за ее рамки. Характерный пример подобного расширения области применения риторики Г.-Г. Гадамер обнаруживает у Филиппа Меланхтона:

[В] одном риторика и герменевтика глубоко родственны: и умение говорить и умение понимать — *это естественные чело-*

веческие способности, которые могут достигать полного развития и без сознательного применения правил искусства, если только естественное дарование получит адекватное развитие и необходимую практику. Вот почему, когда традиция классической риторики говорила лишь о сознательном пользовании этим искусством, об особых обстоятельствах, при которых произносятся речи, и соответственно подразделяла ораторское искусство на судебный, политический и эпидейктический роды, это, по сути дела, сужало круг риторического. [...] Пользу от риторики, от классической *ars bene dicendi*, Меланхтон видел именно в том, что молодые люди не могут обходиться без *ars bene legendi*, то есть без способности постигать и оценивать речи, длинные диспуты, а прежде всего книги и тексты [Гадамер 1991: 193—194]. (Курсив мой. — Э. К.).

Как видим, расширяя понятие *риторического*, Гадамер отказывается сразу от двух оппозиций: во-первых, искусственная речь ↔ естественная речь, во-вторых, наука о порождении речи ↔ наука о толковании речи, и, кроме того, отказываясь от необходимости риторической *выучки* и строгого соблюдения *правил*, выводит риторику за рамки *τέχνη*.

В «Риторике» Аристотель предпринимает попытку показать механизм речевого воздействия, не ограничивая область риторического одним лишь ораторским искусством, а распространяя его на всю сферу речевой деятельности человека:

Риторика — искусство, соответствующее диалектике, так как оба они касаются таких предметов, знакомство с которыми может некоторым образом считаться общим достоянием всех и каждого и которые не относятся к какой-либо отдельной науке. Вследствие этого все люди некоторым образом причастны обоим искусствам, так как всем в известной мере приходится как разбирать, так и поддерживать какое-нибудь мнение, как оправдывать, так и обвинять. В этих случаях одни поступают случайно, другие действуют согласно своим способностям, развитым привычкой. Так как возможны оба эти пути, то, очевидно, можно возвести их в систему, поскольку мы можем

рассматривать, вследствие чего достигают цели как те люди, которые руководятся привычкой, так и те, которые действуют случайно, а что подобное исследование есть дело искусства, с этим, вероятно, согласится каждый.

Обратим внимание на два принципиальных взаимосвязанных тезиса: (1) владение эффективной речью является универсальной способностью каждого человека и не принадлежит лишь тем, кто прошел специальную выучку; (2) задача исследователя — вскрыть и показать механизм речевого воздействия. Подобное исследование Аристотель называет делом искусства, т. е. по-гречески *τέχνη* — стало быть, этот механизм принципиально изучаем и может быть рационально и прозрачно описан. Аристотель предельно расширяет сферу риторического — риторика всюду, где имеет место *эффективная речь*, т. е. речевое воздействие на адресата. Таким образом, ораторское искусство оказывается лишь частным сектором риторики, ее, если угодно, лабораторией, в которой как раз возможно и удобно изучение общего механизма речевого воздействия. Эта идея, сформулированная Аристотелем в первых строках «Риторики», затем ушла на периферию риторической теоретической мысли. Риторика, описывающую и изучающую язык с точки зрения эффективности речевого воздействия, почти полностью потеснила риторика, предписывающая, как следует создавать эффективные тексты. В наиболее концептированном и формализованном виде мы столкнемся с этой моделью риторики на примере так называемой *пятичастной классической риторики*, представленной, в частности, в труде Квинтилиана «Наставление оратору». Из понятия эффективной речи довольно последовательно — и в эпоху Античности, и много позже — изгонялась всякая спонтанность, риторическое мыслилось лишь там, где имели место сознательные и отрефлексированные усилия по культивации текста. Отсюда рождается идея так называемой *вторичной грамматики*, т. е. риторики как вторичной знаковой системы, надстроенной над первичной — грамматической. Риторический текст при этом подходе трактуется как текст, подвергнутый некоторой вторичной обработке, т. е. как продукт культивации речи. Если грамматика ведает *правильной* речью, т. е. произнесенной или написанной в соответствии с грамматическими нормами языка, то риторика представляет собою как бы переход на новую ступень: из всех грамматически правильных высказываний,

которые могут быть продуцированы на этом языке, к ведению риторики относятся те и только те, которые подпадают под определение *bene*, т. е. продуцированные по двойной системе правил — и грамматической (первичной), и риторической (вторичной). При построении риторического текста вторичная знаковая система надстраивается над первичной, грамматической. Наиболее явно эта точка зрения описана в работе Ренаты Лахманн «Демонтаж красноречия»:

Беспризначный член, *plane*, имплицитно подразумевает первичную норму, *recte* (правильно), которая является предметом грамматического описания; обладающий признаком член, *ornate*, напротив, — основывающийся на последней вторичную норму, *bene* (красиво), которая является предметом риторики. *Plane* и *recte* или *ornate* и *bene* являются, в принципе, аспектами одной и той же оппозиции, на примере которых становится ясно, что непризначный член необходим как нормативный фон, на котором операция отступления выделяется как порождающая дифференцирующие качества, и что эта операция подвергается оценке [Лахманн 2001: 11].

Текст, написанный по правилам грамматики, описывается категориями *plane* (просто) и *recte* (правильно); риторический текст описывается в категориях *ornate* (украшено) и *bene* (хорошо). Грамматическое *plane* означает отсутствие усилий по обработке текста, его культивации; *recte* подразумевает ненарушение законов языка. Например, фраза, обращенная за праздничным столом к малознакомому человеку «передайте мне соль», грамматически безупречна, но риторически ущербна, поскольку адресант не дал себе ни малейшего труда привести ее в соответствие с категорией *bene* — каждому, говорящему по-русски, очевидно, что сформулированная таким образом просьба никуда не годится. Между тем Квинтилиан, которому принадлежит определение риторики как *scientia bene dicendi*, фактически пользуется понятиями *bene* и *recte* как синонимами:

Этой ее [риторики] сущности более всего подойдет такое определение: «риторика есть знание того, как хорошо говорить (*scientia bene dicendi*)», — ибо оно охватывает разом и все

достоинства речи, не упуская даже нрав оратора, — потому что хорошо говорить может только добродетельный человек. То же самое выражено и в определении Хрисиппа, заимствованном у Клеанфа: «знание того, как правильно (*geste*) говорить»².

Высказанная Аристотелем идея о том, что к области риторики относятся не только тексты, созданные авторами, прошедшими специальную выучку, по строгим правилам, но и те, авторы которых никогда риторике не учились, а многие из них и не подозревают о ее существовании, снова появляется в XVII в. У Рене Декарта в письме к Мерсенну об этом говорится гораздо более четко и последовательно, чем у Аристотеля:

Я высоко уважал красноречие и был влюблен в поэзию, но я думал, что то и другое скорее дарование ума, чем плоды учения. Те, которые обладают лучшим рассудком и вполне правильно располагают свои мысли так, что они становятся ясными и понятными, могут всегда наилучшим образом убедить в том, что они предлагают, хотя бы они говорили на нижнебретонском наречии и никогда не изучали риторики [Пастернак 2002: 21].

Спустя тринадцать веков Декарт возвращается к той же мысли, которая лишь промелькнула у Аристотеля: к мысли о врожденной способности к красноречию. На протяжении всей своей долгой, неровной и трудной истории риторика весьма последовательно эту мысль изгнала (вспомним хотя бы бесчисленно цитируемую фразу Цицерона *oratores fiunt, poetae nascuntur* — *поэтами рождаются, ораторами становятся*). В традициях теории *τέχνη* риторика видела свою задачу в том, чтобы понять как работает эффективная речь и передать знание этого как ученику, совершенно оставив за пределами своего поля зрения вопрос о том, *почему* это работает. Почему мы можем быть эффективны, даже не совершая особых усилий? Почему с того времени, когда риторика ушла из системы европейского образования, люди не разучились произносить публичные речи и в общем и целом эти речи не стали хуже? Почему ребенок, которого этому никто и никогда не учил, умеет с помощью речи добиваться своих целей?

Риторика последовательно и успешно решала задачу формализации процесса создания культивированного эффективного текста, показывая, как он работает и почему. Но задача понять, как работает эффективная речь вне всякой системы правил и тем более вне профессиональной риторической выучки, почти и вовсе не ставилась. Частично это объясняется тем, что риторика еще в классическую греко-римскую эпоху ограничила область своего применения исключительно литературным языком, отбросив за рамки все речи, которые продуцируются на диалектах или просторечии. *Речь простецов* заведомо выпадала из поля риторического. Фактически, литературный язык уподоблялся греками и римлянами космосу, который упорядочен и поддается рациональному изучению и описанию, и противопоставлялся остальным формам естественного языка как хаосу, который заведомо изучен быть с риторической точки зрения не может. Внутри же литературного языка было, в свою очередь, выделено некоторое ядро, которое и оказывалось сферой действия риторики, — культивированные, подвергнутые сознательной обработке тексты. В уже упоминавшейся статье Жерара Женетта «Сокращенная риторика» высказан важный тезис, но вскользь и в сноске: фигуральность сущностно заложена в каждом языке и не сводится к одной лишь метафоре [Женетт 1998а: 32]. Этот тезис так и не был развит дальше, ни самим Женеттом, ни неориторикой. В фокусе риторики по-прежнему оставались лишь проблема *сознательной* культивации текста, почти не давая места изучению тех *возможностей*, которые предоставляет нам язык, фактически не требуя от нас усилий.

Какие именно тексты оказались в фокусе риторики? Этот корпус текстов легко определить с помощью шести функций языка, выделенных Якобсоном. По этой схеме риторическим будет тот текст, в котором воплощены одновременно конативная и поэтическая функции — т. е. такой, в основе которого лежат две взаимосвязанные задачи адресанта: сделать текст убедительным и культивировать его. Сложности возникают, однако, когда мы делаем следующий шаг, задаваясь вопросом: всегда ли поэтическая функция языка проявляется тогда, когда адресант делает *сознательные* усилия по культивации текста, или же она встроена в язык, что позволяет адресанту использовать ее совершенно спонтанно?

Поэтическая функция языка может проявляться — и сплошь и рядом проявляется — в спонтанной речи, однако спонтанность после-

довательно изгонялась из области риторического. Риторика почти никогда не задавалась этими вопросами, оставив в темном поле сознания те важнейшие утверждения, которые были сделаны Аристотелем. И античные, и позднейшие теоретики риторики сосредоточились исключительно на *риторике как усилении* говорящего, совершенно упустив из виду *риторику как способность говорящего*.

Все существующие риторики подразделяются на две категории: *нормативные риторики*, ставящие своей целью научить приемам эффективной и/или хорошей речи, и *дескриптивные риторики*, задача которых состоит в описании этих приемов. Всякий раз, когда публичное говорение уходит на периферию, повышается удельный вес дескриптивных риторик, которые, в свою очередь, всё больше и больше сводятся к описанию и систематизации репертуара фигур речи. В XX в. ученые, вернувшиеся к риторическим исследованиям, вновь упираются именно в эту проблему («Общая риторика» Группы μ в этом отношении особенно показательна). При этом совершенно в тени осталась гораздо более важная проблема — создания *теоретической риторики*, т. е. такой, задача которой заключается в объяснении того, *почему* возможно порождение эффективной речи. Наиболее интересным, на мой взгляд, аспектом этой проблемы является вопрос о том, почему возможно *спонтанное, вне выучки и системы правил*, порождение эффективной речи? Что такого есть в языковой способности, что дает нам возможность эффективного использования языка, т. е. порождения высказываний, преследующих определенную цель и этой цели достигающих? Или, в терминах теории речевых актов Остина, почему наши иллокутивные намерения приводят к желаемому перлокутивному эффекту? Риторическая мысль так сосредоточилась на алгоритме выучки и репертуаре фигур, что спокойно прошла мимо идей о *спонтанной риторике*, высказываемых еще Аристотелем.

Весь этот спектр вопросов, на который закрыла глаза риторика, получил развитие в тех лингвофилософских концепциях, которые либо понятие риторики обходили молчанием, либо вообще были настроены по отношению к ней оппозиционно. Это, прежде всего, те направления лингвофилософской мысли, которые Ноам Хомский назвал картезианской лингвистикой³. Анализируя и резюмируя картезианский подход к изучению языка, Хомский пишет:

«Человек как вид наделен совершенно специфической особенностью, он обладает уникальным типом умственной организации, которую нельзя объяснить строением периферийных органов или связать с общими особенностями его интеллекта; она находит свое проявление в том, что можно назвать «творческим аспектом» повседневного пользования языком, когда обнаруживаются такие его свойства, как безграничная множественность целей и свобода от контроля посредством внешней стимуляции» [Хомский 2005: 25].

«Я убежден, что за день на Парижском рынке можно услышать больше фигур речи, чем за долгие часы академических собраний» — эту фразу Дю Марсе цитировали великое множество раз, однако она так и осталась *tot*, из которого не были сделаны замечательные выводы. По крайней мере, в рамках предметного поля риторики — за его пределами фигурированность спонтанной речи исследовалась и описывалась. И дело не только в фигурах речи, которые носители языка способны продуцировать совершенно спонтанно — вообще *убеждающий дискурс* возможен не только в пределах культивированной речи.

Вполне очевидно, что пятичастная классическая риторика построена по модели линейного алгоритма: 1 → 2 → 3 → 4 → 5. «Алгоритмизация» процесса создания риторического текста не предполагает, что при некоторых условиях необходимо будет движение влево: возврат к предыдущему пункту или перескакивание через один или несколько пунктов назад. Это означает одну простую и очевидную вещь: античные теоретики риторики по умолчанию полагали, что план текста (= *dispositio*) может быть без помех преобразован в собственно текст (= *elocutio*). То есть в алгоритме пятичастной риторики за шагом 2 линейно следует шаг 3, и возврат к шагу 2 (тем более к шагу 1) ни при каких условиях не нужен. Однако риторическая практика почти что с неизбежностью показывает обратное: из любого пункта алгоритма может потребоваться возврат к сколь угодно отдаленному пункту влево. Напомню знаменитую фразу Стефана Малларме — «поэмы пишутся не идеями, а словами». Точно так же риторический текст пишется не «аргументами» — это связная речь, а не цепочка последовательно представленных аргументов. Вообще тут важно вспомнить, что аргумент — это единица метаязыка, с помощью которой *описывается*, а не *осуществляется* процесс рассуждения. Если на этапе

инвенции мы подобрали отличные аргументы, а на этапе диспозиции безупречно их расположили, это отнюдь не означает, что все они легко и удачно встроятся в текст, который предстоит создать на этапе элокуции. Внутри живой речи аргументы могут самым существенным образом изменить свои исходные характеристики по параметру силы / слабости. Если это так, мы имеем дело не просто с возвращением из пункта 3 к пунктам 2 и 1, но и с очевидным разрушением самого алгоритма, поскольку этапы 1, 2, 3 начинают осуществляться одновременно. Это происходит из-за вторжения в процесс подготовки риторического текста того самого фактора спонтанности, который столь последовательно и настойчиво из риторики изгонялся.

Рекомендуемая литература

Литература к этой главе представляет собой изрядную сложность, поскольку мне неизвестно ни одной работы, непосредственно посвященной рассматриваемой здесь проблеме. Пожалуй, единственное, что я могу посоветовать читателю — это блестящая работа [Хомский 2005], в которой, в частности, подробно рассматривается творческий аспект употребления языка, а также [Пинкер 2004]. Также я рекомендую внимательно прочитать [Лами 2002], где вскользь, но всё же ставится проблема эффективной речи как врожденной способности человека.

ПРИМЕЧАНИЯ

Глава 1. Риторика и риторическое в европейской культуре

¹ Между тем далеко не всякая убедительная и/или убеждающая речь проходит по ведомству риторики в исходном, древнегреческом понимании этого слова. Ср. замечание С. С. Аверинцева: «[С]овременная научная мода, в особенности западная, поощряет чрезвычайно расширительное употребление термина “риторика”: нынче модно, например, говорить о “риторике Ветхого Завета”. У этой моды, как у многих не вполне разумных обыкновений, имеются уважительные причины — прежде всего, как кажется, реакция на руссоистско-романтическую абсолютизацию “безыскусности” фольклора и архаики. Разумеется, верно, что словесное поведение человека никогда не бывает стопроцентно, химически чисто “безыскусным”; тем паче на стадии архаики, когда всё в той или иной мере подчинено ритуальной норме. Но когда мы любое оформление речи, любое проявление словесного искусства называем “риторикой”, теряется ощущение необычного изобретения, сделанного когда-то греческими софистами в острой обстановке сенсации и скандала, которую еще можно почувствовать в Аристофановых “Облаках”, не говоря уже о неисчислимом множестве исторических анекдотов. Из-за чего, спрашивается, было горячиться, если риторика была тоже “всегда” и всего-навсего эволюционировала?» [Аверинцев 1996: 7—8]. Далее Аверинцев говорит о появлении риторики как о революции в системе древнегреческого знания: «переход к систематической рефлексии, постановка вопроса о *методе*, будь то метод познания или метод творчества, — не простая эволюция, не простое достижение культурой некоего количественно понимаемого “уровня”, но интеллектуальная революция, принципиальное преобразование основ культуры. Рефлексия по своей сути не “естественна”. Человеческому уму “естественно” смотреть не в себя, а *перед* собой или в крайнем случае *над* собой, занимаясь — в более или менее прагматическом контексте быта и обряда — всем на свете от утвари до богов, только не законами собственной деятельности. Человеческой речи также “есте-

ственно” иметь темой что угодно, только не самое себя. Напротив, систематически поставить гносеологическую проблему и связанную с ней задачу построения формальной логики, т. е. переориентировать знание с космического и божественного на само же знание — совершенно не “естественно” [...]. Столь же не “естественно” задуматься над выражением мысли в речи, заняться теорией языка, любезной [...] софистам рефлексией над словом, наконец, систематизацией правил словесного творчества, долженствующих обеспечить оптимальную сообразность индивидуального произведения абстрактному концепту жанра, — написать, как тот же Аристотель, три книги “Риторики” и книгу “Поэтики”. В перспективе сознания той публики, для которой несколько ранее писал Аристотель, всё это выверт, извращение — к чему мыслить о мысли и говорить о речи, когда есть столько других тем? Разумеется, эта точка зрения отсталая, обскурантская, — однако нельзя сказать, что непонятная или бессмысленная. Допустив систематическую рефлексию, греки начали интеллектуальную авантюру, продолженную другими, в ходе которой уже ничто не могло остаться в своем прежнем состоянии. Ужас, инстинктивный *horror* души перед тем направлением мысли, когда всё человеческое становится объектом рефлексии и через это потенциально релятивизируется, во всяком случае выводится из сферы “естественного”, — испуг этот заявлял о себе через тысячелетия после поры софистов, Аристофана и Аристотеля» [Аверинцев 1996: 8—9] (Курсив Аверинцева. — Э. К.).

² Горгий (Γοργίας, 483 — 380 до н. э.) — древнегреческий софист, крупнейший представитель и один из основоположников теории риторики, знаменитый учитель красноречия; первым начал применять особые художественные приемы украшения прозаического текста — так называемые «горгианские фигуры».

³ В русском переводе пропало слово *энкомий* — важнейший жанр ораторской прозы (см. о нем в Главе 2); английский и др. европейские переводы его сохраняют — *Encomium of Helen*. По легенде, Горгий выступил с двойной речью: в один день он убедил собрание, что Елена — самая виновная из женщин, на следующий день — что она воплощенная невинность [Кассен 2000: 51]. В финальной фразе своей речи Горгий определяет ее как *παίγνιον* — ‘игрушка, шутка, забава’. Игровой элемент, войдя в риторику у самых ее истоков, впредь будет с большей или меньшей очевидностью сохраняться в ней постоянно.

⁴ Петух и курица в древнегреческом языке обозначались одним словом ἄλεκτρον и различались лишь артиклем. По всей видимости, Аристофан высмеивает реформаторские идеи Протагора (См. об этом [ИЛУ 1980: 124—125]).

Глава 2. Классическая риторика: нормативная модель

¹ Разницу между *риторикой правил* и *риторикой образца* легко наглядно объяснить с помощью метафоры *готового продукта* и *рецепта*, предложенной Марком Бейкером. «Приходящие к нам на ужин гости поначалу иногда не обращают внимания на хлеб. Но в какой-то момент они понимают, что это хлеб особый. И иногда хлеб нравится им настолько, что они забывают об остальных блюдах. В конце ужина гости часто говорят, что хотели бы еще раз попробовать такой хлеб. Мы можем ответить (и отвечаем) на это желание гостей двумя способами. С одной стороны, Линда может предложить им *готовый хлеб*, то есть дать буханку хлеба, которую можно взять с собой и съесть на следующий день. С другой стороны, она может поделиться своим *рецептом*, то есть дать список ингредиентов и описание действий, необходимых для приготовления хлеба. В обоих случаях можно сказать, что Линда дает гостям свой хлеб. Но она дает его в двух совершенно разных смыслах, что видно из того, как люди отвечают на эти два предложения. Для тех, кто смел и инициативен, рецепт — более заманчивое предложение, так как он позволяет, один раз научившись печь хлеб, в дальнейшем иметь его неограниченный запас. Большинство гостей, однако, с благодарностью принимает готовый хлеб и на этом успокаивается. Они могут съесть его на следующий день, не проявляя особой смелости или инициативы, выходящей за рамки их обыденной жизни. Буханки хлеба не хватит надолго, но в это короткое время она намного вкуснее, чем бумажка с рецептом» [Бейкер 2008: 57].

² Об особой значимости судебного рода красноречия для риторики и риторической культуры в целом см., в частности [Аверинцев 1996: 135]: «Связь риторики и юриспруденции непрерывно актуализировалась, разумеется, фактом существования судебного красноречия, но не им одним. Присущая риторике “агональность” ставит не только

ритора, но и риторически воспитанного писателя в отношении квазисудебного состязания с соперником или оппонентом, всё равно — реальным или фиктивным. Риторический принцип постоянно толкает литературу к интонациям судоговорения».

³ Первоначально *энкомием* (ἐγκόμιον — ‘восхваление’) называлась хвалебная песнь, которой праздничная процессия (κόμος, отсюда название жанра) сопровождала победителя на Олимпийских играх. Затем — через риторические упражнения — жанр энкомия укореняется в прозе в виде хвалебной речи в адрес кого-либо или чего-либо. Один из самых известных в древнегреческой литературе энкомиев — «Похвала мухе» (Μύιας Ἐγκόμιον) сатирика Лукиана (ок.120—180), построенная по классическому образцу эпидейктического красноречия.

⁴ Софисты составляли специальные пособия для оратора, в которых ученику предлагалось упражняться в декламациях на заданную тему, предполагавшую, как правило, сперва хвалу, потом хулу предмета речи; другим распространенным заданием были прения по вымышленным судебным делам. См. об этом, в частности [Гаспаров 1972: 10]. Ср. также: «[...] таковы парные рассуждения pro и contra, жанр которых был разработан еще софистами V в. до н. э.: “Кто полезнее для государства, воины или земледельцы? — речь первая: полезнее воины; речь вторая: полезнее земледельцы”. “Что лучше — жизнь практическая или теоретическая? — речь первая — лучше жизнь практическая; речь вторая — лучше жизнь теоретическая” и т. д.» [Шичалин 1999: 53—54].

⁵ Ср.: «Dispositio — одно из центральных понятий риторической теории. В новой научной литературе иногда употребляется как коррелят к понятию композиции; термин “диспозиция” акцентирует момент школьной правильности, рассудочной последовательности (то, чего мы ждем от идеального ученического сочинения), термин “композиция” — момент “творческой” субъективности (то, чего мы ждем от художественной литературы в современном смысле слова)» [Аверинцев 1996: 189—190].

⁶ Диоген Лаэртский так излагает точку зрения Зенона: «Достоинств речи имеется пять: правильность, ясность, краткость, уместность,

украшенность. Правильность есть безошибочность разговорных выражений, но не случайная, а искусственно достигнутая. Ясность есть слог, внятно представляющий содержание мысли. Краткость есть слог, заключающий в себе только необходимое для уяснения предмета. Уместность есть слог, соответствующий предмету. Украшенность есть слог, избегающий заурядности» (Diog. Laert, VII, I).

⁷ Омонимия свойственна не только лексике (лук — растение и лук — оружие и т. п.), но и синтаксису. Что именно имел в виду А. С. Пушкин в известных строчках о Ленском: *Он из Германии туманной привез учености плоды?* Синтаксическая структура фразы такова, что допускает двоякое толкование (это многократно обсуждалось в лингвистической литературе): ‘он привез из туманной Германии плоды учености’ и ‘он привез из Германии плоды туманной учености’. Подобного рода синтаксическая омонимия встречается в стихотворении Иосифа Бродского «На столетие Анны Ахматовой»: *Великая душа, поклон через моря / за то, что их нашла, — тебе и части тленной, / что спит в родной земле, тебе благодаря / обрешей речи дар в глухонемой вселенной.* Омонимия может сниматься контекстом, в этом случае требование ясности не нарушается. Ср. в стихотворении А. М. Городницкого «На Маяковской площади»: *Другим по вечерам варить ей кофе, / смотреть с другими в утренний туман.* Первая часть фразы омонимична: ‘она будет варить кофе другим’ или ‘другие будут варить ей кофе’? Однако вторая часть фразы оставляет только первый вариант.

⁸ Современный лингвист искушаем именно этим желанием: поставить знак равенства между *recte* и *нормой*. В качестве довольно показательного примера могу сослаться на Ренату Лахманн, которая, отождествляя *recte* с *нормой*, противопоставляет *recte* и *bene*, последнее относя непосредственно к риторике, а радиус действия первого ограничивая лишь грамматикой.

⁹ *Фигура* — калька латинского слова *figura*, калькирующего, в свою очередь, древнегреческое *σῆμα*.

¹⁰ Сегодня к этой категории проблемных с точки зрения ясности лексических единиц следовало бы отнести недавние заимствования, еще

не вполне освоенные языком и не слишком понятные для большинства его носителей.

¹¹ Стабильное латинское обозначение периода не установилось — Цицерон описывает его несколькими синонимами: *comprehensio*, *circumscriptio*, *ambitus verborum* [Гаспаров 1972: 22—23].

¹² Эта языковая интуиция античных теоретиков риторики отнюдь не банальна. То, что предложения состоят не из слов, а из групп и клауз, и по сей день не очевидно носителям языка. Вот очень симптоматичный пример — автор современного учебника по риторике дает читателю нормативные указания по построению фразы: «Установлено, что фраза, состоящая из 10—15 слов, лучше всего воспринимается; состоящая из 14—18 слов — воспринимается хорошо; из 19—25 слов — удовлетворительно; из 25—30 слов — с трудом; фраза, насчитывающая более 30 слов, практически не воспринимается. А теперь посчитайте количество слов в последнем предложении, и вам станет ясно, как говорить не следует. Старое школьное правило написания сочинений справедливо и для речи: новая мысль — новое предложение!» [Шейнов 2000: 491]. Важно не то, что приведенная выписка — это всё, что автор учебника по риторике имеет сказать о синтаксисе. Важнее, что носителю языка действительно сложно преодолеть расхожее представление о том, что предложения состоят непосредственно из слов. Античным теоретикам риторики это удалось сделать тогда, когда никакой науки о языке вообще не существовало.

¹³ Простой стиль часто называют *низким*. Это название лучше вписывается в метафору вертикали, описывающую стили — высокий-средний-низкий, однако часто ассоциируется как со *сниженной лексикой*, так и с речью *низов*, чего простой стиль отнюдь не предполагает.

¹⁴ Изобретение мнемоники в целом и этого метода в частности связывают с именем древнегреческого поэта Симонида Кеосского (ок. 556 — ок. 467 до н. э.). По легенде, состоятельный человек по имени Скопа заказал ему оду в свою честь. Симонид прибавил несколько строк к уже готовой оде о Касторе и Поллуксе и отнес ее заказчику. Тот заплатил лишь половину обещанного гонорара, сказав, что вторую половину заплатят Кастор и Поллукс. Во время пира к

Симониду подошел человек и сообщил, что снаружи его ждут братья, которые хотят с ним расплатиться. Уже слегка захмелевший Симонид вышел, думая, что это кто-то из его прошлых заказчиков. Не найдя братьев рядом с домом, он пошел искать их. В это время случилось землетрясение, дом Скопы был полностью разрушен, хозяин и все гости погибли. Изуродованные трупы не удавалось опознать. Тогда позвали Симонида, и он по памяти рассказал, кто из гостей сидел в каком месте дома.

¹⁵ Теорию произнесения ввел в риторику опять-таки Феофраст. Разрабатывая эту часть классической риторики, он ориентировался на актерское искусство.

Глава 3. Неориторика: дескриптивная модель

¹ Подробно см. об этом [Адо 2002].

² Отдельно следует обратить внимание на одну особенность риторического образования: преподаватель риторики не обязательно сам должен быть блестящим оратором. Самый, пожалуй, яркий пример — фигура Исократы, знаменитого ритора IV в. до н. э., который сам не произносил речей, но с успехом учил этому других. По свидетельству Псевдо-Плутарха, «когда его (Исократы — Э. К.) спрашивали, как это он, сам неспособный [произносить речи], учит других, он отвечал, что точильный камень не может резать, но он делает железо острым» (Ps.-Plut. Vitae X or. 838 E-F) (См. подробнее [Исаева 1994: 8]).

³ Гомилетика так и не стала частью риторики и одним из видов красноречия, наряду с политическим, судебным и эпидейктическим. В позднейшие риторики, написанные после Средневековья, искусство проповеди, как правило, не включается. Ср. у Лами: «Не следует удивляться тому, что я ничего не говорю о проповедовании. Просто не принято говорить об этом в книгах по риторике. В этом мы следуем методу древних, которые не обучали людей на публичных собраниях, как это делают христиане. Речи древних направлялись либо на дела судебные, либо на государственные. Иногда они произносили хвалебные речи тем, кто послужил на благо Республики. Сегодняшняя рито-

рика не имеет других целей, во всяком случае, прочих направлений, кроме вышеназванных. Таков обычай, и мы ему следуем» [Лами 2002: 295—296].

⁴ В «Кратком руководстве к риторике» следы латинского влияния весьма заметны. Во II в. до н. э. в Риме было сильно сопротивление греческой риторике, которая казалась направленной исключительно на внешнее изящество речи. Римский государственный деятель и писатель Катон Старший составил для своего сына не дошедшее до нас руководство по риторике, суть которого выражалась максимой *rem tene, verba sequentur* — не упускай дела, слова найдутся. Почти о том же говорит Ломоносов в начале своего трактата: «Материя риторическая есть всё, о чем говорить и писать можно, то есть все известные вещи на свете, откуда ясно видеть можно, что ритор, который больше познание имеет настоящего и прошедшего света, то есть искусен во многих науках, тот изобильнее материи имеет к своему сладкоречию. И для того, кто желает быть совершенным ритором, тот должен обучиться всем знаниям и наукам, а особливо гистории и нравоучительной философии» [Ломоносов 1952а: 23]. Ломоносов впервые на русском языке сформулировал риторическую концепцию *остроумия (acumen)* тоже под влиянием латинских источников, в частности, учебника по риторике (1732), написанного на латыни его учителем Федором Кветницким. Ср. у Кветницкого: «Acumen vel argutia est ratio, seu dictum ingeniosum ex combinatione aliquarum rerum contra expectationem prolatum» (Острота или остроумие есть некая исполненная таланта мысль или высказывание, содержащее неожиданное сочетание неких понятий). (Цит. по [Лахманн 2001: 130]); у Ломоносова: «Витиеватые речи (которые могут еще назваться замысловатыми словами или острыми мыслями) суть предложения, в которых подлежащее и сказуемое сопрягаются некоторым странным, необыкновенным или чрезуестественным образом, и тем составляют нечто важное или приятное» [Ломоносов 1952б: 204—205].

⁵ Напр., в [Рождественский 1999] современной риторике посвящена лишь небольшая главка «Риторические научные дисциплины XX в.», где кратко охарактеризованы такие отнюдь не рядоположенные направления, как контент-анализ, история риторики, теория коммуникаций. [Рождественский 1999: 59—66].

⁶ «У истоков современного возрождения риторики во Франции ощутимо бесспорное влияние Р. Якобсона, и, в частности, переведенной Н. Рюветом на французский язык в 1963 г. его книги “Очерки по общему языкознанию”, в которую вошло основополагающее исследование о метафоре и метонимии» [Группа μ 1998: 28].

⁷ Особый случай представляют собою те речевые акты, в которых адресант отправляет речевое сообщение самому себе: от бумажного или электронного стикера с напоминанием до долгие годы ведущегося дневника, не предназначенного для прочтения кем-либо другим, помимо его автора. В этих случаях число элементов речевого акта не сокращается до пяти — их по-прежнему шесть, просто адресант и адресат совмещены в одном лице: вместо коммуникантов $X \rightarrow / \leftarrow Y$ мы имеем пару $X \leftrightarrow X$.

⁸ Противоположную оценку этой идеи Группы μ дает А. К. Авеличев: «Переименовая “поэтическую функцию языка” и называя ее “риторической”, “группа μ ” предлагает установить иерархию функций, в которой главенствующую и всеподчиняющую роль призвано играть сообщение и соответствующая ему риторическая функция. Последствия этого шага в теоретическом плане весьма значительны: риторическая функция языка становится трансцендентной по отношению к другим языковым функциям, что дает возможность в практическом плане изучать проявление риторического в любом типе вербальной коммуникации, а при семиотическом подходе — и в невербальных коммуникативных системах» [Авеличев 1998: 18].

⁹ Понятие *нулевая ступень (степень) письма* использовал Ролан Барт в одноименной работе, однако нагружал его совсем иным смыслом и относил не к риторике, а к литературе.

¹⁰ Остроумный пример совмещения всех единиц языка в одной форме приводит А. А. Реформатский: «[Д]ва римлянина поспорили, кто скажет (или напишет) короче фразу; один сказал (написал): *Eo rus* — ‘я еду в деревню’, а другой ответил: *I* — ‘поезжай’. Это самое короткое высказывание (и написание), которое можно себе представить, но вместе с тем это вполне законченное высказывание, составляющее целую реплику в данном диалоге и, очевидно, обладающее всем тем,

что свойственно любому высказыванию. Каковы же эти элементы высказывания?

1) [I] — это звук речи (точнее, фонема), т. е. звуковой материальный знак, доступный восприятию ухом, или *I* — это буква, т. е. графический материальный знак, доступный восприятию глазом;

2) *i-* — это корень слова (вообще, морфема), т. е. элемент, выражающий какое-то понятие;

3) *i* — это слово (глагол в форме повелительного наклонения в единственном числе), называющее определенное явление действительности;

4) *I* — это предложение, т. е. элемент, заключающий в себе сообщение.

“Маленькое” *I*, оказывается, включает в себе всё, что составляет язык вообще: 1) звуки — фонетика (или буквы — графика), 2) морфемы (корни, суффиксы, окончания) — морфология, 3) слова — лексика и 4) предложения — синтаксис [Реформатский 2000: 35].

¹¹ В качестве наиболее наглядного примера приведу сетевой *a(o)лбанский язык*, который представляет собой развернутый метаплазм. На первый взгляд может показаться (и многим в действительности так кажется!), что писать «по-албански» — значит, писать вне всяких правил. Это, между тем, далеко не так: «албанский язык» подчиняется строгому правилу — слово должно быть написано таким образом, чтобы его звучание не отличалось от звучания его орфографически правильного варианта. Поэтому, скажем, *красавчег* — это верное «албанское» написание, а вот слово *красавчегги*, часто встречающееся в интернете, содержит явную ошибку: фонема <к> находится в сильной позиции (перед гласным) и не может быть заменена на [г]. Например, сколькими способами можно написать «по-албански» слово *хомячок*? Для ответа на этот вопрос необходимо перечислить все возможные орфографические ошибки в этом слове, а затем решить комбинаторную задачу. Среди возможных окажутся варианты *хомичок*, *хамечёг*, *хамячок* и т. п., но никак не *хюмачок* или *хомочук*, которые запрещены фонетически.

¹² В классической риторике метаплазмами (др.-греч. μεταπλάσιμος, от μεταπλάσσω — ‘преображаю, переделываю, превращаю’) назывались

различные преобразования отдельных букв и слогов слова. Метаплазмов в риторике не так много. По одной простой причине: несмотря на включение в свою сферу и письменных текстов, риторика всё-таки по большей части обращена к уху адресата, тогда как метаплазмы — по большей части к *глазу*.

Именно поэтому метаплазмы особенно часто встречаются в наружной рекламе. В ней представлен тот вид метаплазмов, который работает с графикой, а не с фонетикой — это билборды и реклама в печатных и сетевых изданиях. Это те метаплазмы, которые Группа µ выделяет в особый подтип — *метаграфы*. Целью метаграфа, как правило, является совмещение в одном означающем двух означаемых: например, *презиДЕНТ* (название стоматологической клиники). С той же целью используется совмещение в одном слове двух кодов — кириллического и латинского: *пиво Клинское REDKOE, Закусity*. Второй пример представляет собой чуть более сложно устроенную фигуру. С одной стороны, это то же, что и в первом случае, совмещение кириллического и латинского кодов, позволяющее соединить в одном означающем два означаемых: в первом случае — *редкое + красное*, во втором — *закуска + большой город*. С другой стороны, во втором примере есть еще и игра с принципом русской орфографии: императив *закусите* и гибридное слово *закусity* произносятся одинаково (фонемы <э> и <и> в слабой позиции произносятся как [и]). К области метаплазмов относится и использование в качестве приема омофонов и омографов. Омофоны (др.-греч. ὁμόφωνος ‘созвучный, согласный’) — это фонетические омонимы, слова, которые звучат одинаково, имея различное написание и значение. Омографы — это графические омонимы, слова, которые совпадают в написании, но различаются в звучании и значении. Сами по себе омофоны и омографы не являются фигурами, однако могут использоваться — и часто используются — при создании фигурированного текста. В конце 2010 г. Борис Акунин по просьбе газеты «Гардиан» прокомментировал суд над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Текст Акунина (он написан на русском языке) называется «Аристократия и арестократия»: «[...] *что московский судебный процесс, который подошел к завершению, это не частный случай и не результат произвольного сцепления обстоятельств, а очередной этап противоборства двух сил, борьба которых издавна является главной линией разлома российского общества и ключом к пониманию всех зигзагов*

его трудной истории. Первую из этих сил я назову “АрИстократия”, имея в виду вовсе не голубокровное происхождение, а греческий корень “аристос” и стремление к благородным поступкам, идеалистичному образу мыслей. Эта сила неоднократно меняла социальную среду и название: декабристы и народники 19 века сменились интеллигенцией и диссидентами советского периода. Менялись политические лозунги и платформы, но борьба всегда велась за одно и то же — за *human dignity*, этот основной показатель уровня развития страны. Именно по *human dignity* с тем же неизменным упорством вела прицельный огонь вторая историческая сила, которую я назову “АрЕстократия”, потому что ее основным аргументом во все времена был арест — лишение свободы, затыкание рта. Названия у этой силы тоже все время менялись: Третье отделение, Охранка, ЧК, НКВД, КГБ, а сегодня она называется путинской “вертикалью власти”. [...] Приговор, который будет вынесен в ближайшие дни, не просто решит судьбу двух людей. От него будет зависеть, какой вектор движения получит Россия во втором десятилетии 21 века — “арИстократический” или “арЕстократический”, и в каком направлении двинется страна: вперед и вверх или вспять и вниз». Аристократия и акунинский неологизм арестократия — типичные примеры омофонов: по законам русской фонетики они произносятся совершенно одинаково.

¹³ Ср.: «На протяжении многовековой истории риторики понимание ее предмета, задач, внутреннего строения и соотношения с другими областями знания не раз претерпевало кардинальные изменения. Постепенно образовался сложный конгломерат понятий, конструкций, методов и результатов, с трудом соотносимый с нашими сегодняшними представлениями о единой научной дисциплине» [Гиндин 1998: 355].

Глава 4. Риторика без риторики

¹ Гален (Γαληνός, ок. 130 — ок. 200) — древнегреческий физиолог и медик; систематизировал античные представления о медицине, создав единое учение; основал фармакологию, впервые ввел понятия действующего вещества и эксипиента (*балластного вещества*, в терминологии Галена).

² Чарльз Пирс разделил знаки на три вида: 1) иконические знаки (знаки-изображения, например, крендель на вывеске булочной); 2) знаки-индексы (соотносимые с объектом пространственной или временной смежностью, например, стрелка, указывающая направление движения) и 3) знаки-символы (знаки, связанные с означаемым конвенцией, например, цветок на окне как знак провала явки).

³ См. подробное описание эксперимента: Pearls Before Breakfast // The Washington Post. April 8, 2007.

⁴ Ср.: «И всё же люди люди будущего тоже верят в демонов, хотя и в иных — так сказать, более глубоких и тайных, скрытых за сущностью вещей; в этом я убедился. В них верит даже господин Ши-ми. Он постоянно приносит жертвы. Это огненные жертвы в виде небольших белых трубочек, которые он засовывает себе в рот и — не пугайся! — поджигает... Совсем как глотатели огня. Но трубочки на самом деле не горят, они только тлеют, чадят и довольно сильно воняют. Я долго наблюдал за этим ритуалом, однако так и не смог проникнуть в его истинный смысл. [...] По всем признакам это настоящее священнодействие. Ритуал сложный, но господин Ши-ми совершает эти головоломные действия с точностью и смирением истинного подвижника. Он держит трубочку во рту, пока та не догорит почти до самых губ, сделавшись меньше фаланги пальца. Тогда, видимо, заклятие спадает, потому что остаток трубочки он выбрасывает довольно бесцеремонно. Такие жертвы господин Ши-ми (я специально наблюдал) приносит примерно каждые полчаса. И до сих пор не пропустил ни разу. Он постоянно носит с собой целую связку таких палочек, и в его жилище хранится еще большой их запас»; «А там опять была эта дама (о том, что это именно дама, я могу говорить с уверенностью, ибо уже неоднократно видел ее с красным зонтиком), которой, судя по всему, принадлежит наша лестница, а возможно, и весь дом, — потому что я часто заставал ее за выполнением какого-то сложного, очевидно, религиозного ритуала, при котором она опускается на колени и умащает ступени лестницы особой жидкостью, протирая их куском ткани, — тем более что и кричит она гораздо громче, чем остальные обитатели дома, и дети ее боятся».

⁵ С этим связана важная проблема нормативной риторики: соотношение *риторики правил* и *риторики образца*. В какой степени риториче-

ская выучка может сочетать в себе научение приемам и подражание? «Риторическая школа, готовя к активному владению словом, учила правилам, а подражание было в ней лишь вспомогательным средством: гибкие правила позволяли будущему оратору легче приспособляться к меняющейся обстановке, а прямое подражание, скажем, речи Цицерона в эпоху поздней империи выглядело бы нелепо» [Гаспаров 1986: 93]. Тем более нелепо и немыслимо подражать сегодня древним ораторам, вошедшим в риторический пантеон славы. Взять хотя бы знаменитую речь Демосфена «О предательском посольстве»: «Какая суэта, какие хлопоты начались из-за нынешней тяжбы, — это чуть ли не все вы, афиняне, я полагаю, заметили сами, видя, сколько людей стало вам докучать и не отступалось, едва только вас выбрали жребием. Я тоже буду просить вас, но о том, к чему и без просьб обязывают честность и право: ни приязнь, ни лицо не ставить выше справедливости и присяги, которую каждый из вас дал, вступая сюда, и не забывать, что это будет на благо и вам, и всему городу, между тем как мольбы и хлопоты заступников имеют целью частную корысть, которой и должны вы стать преградой, ибо за этим, а не затем, чтобы усилить преступления, собрали вас законы» [Ораторы Греции 1985: 65]. Сегодня невозможно представить себя не только автором, но и слушателем этой речи, т. е. *интерпретатором* этой знаковой системы. Однако подражание относительно недавним образцовым текстам может дать отличный риторический эффект. Ср. воспоминания Анатолия Собчака о его выступлении при выдвижении кандидатом на Съезд народных депутатов: «В половине двенадцатого ночи наконец подошла моя очередь. И хотя по природе я импровизатор, в этот раз речь у меня была продумана, заранее подготовлена. Я собирался излагать концепцию правового государства, концепцию рыночной экономики. Но когда рука сама потянулась в карман пиджака за тезисами, я понял, что если сейчас скажу свою подготовленную речь, то всё провалится. Потому что люди сидят больше шести часов, и читать им лекцию совершенно бессмысленно. Начинаю лихорадочно думать, что изобрести. Но изобрести ничего не удастся, а микрофон уже смотрит мне в рот, и в зале — только равнодушное любопытство: ну давай, профессор, не тяни... Тут-то мне и вспомнилась знаменитая речь Мартина Лютера Кинга, каждый абзац которой начинался неизменным: “Я мечтаю...”. И, призвав на помощь тень великого американского правозащитника, я сказал, что я тоже меч-

таю. Мечтаю о времени, когда не будет никаких окружных собраний и предварительных отборов кандидатов; о времени, в котором избиратели, придя на встречу, смогут сами определить кандидата и не будут толпиться у закрытых перед ними дверей, охраняемых дружинниками и нарядами милиции; о времени, когда продажные и некомпетентные министры вкупе с другими такими же руководителями перестанут доводить нашу жизнь до абсурда [...]. Я сказал, что мечтаю о времени, когда наше государство станет правовым, и коротко объяснил, что правовое государство — это то, которое не допускает предоставления прав и привилегий одному за счет другого. Но я не долго мечтал вслух перед этими очень уставшими людьми. И когда с последним словом услышал тишину, понял, что дело сделано: зал на моей стороне». *Анатолий Собчак. «Хождение во власть».*

⁶ В радиоинтервью для русской аудитории Лера Бородицки изменила свой традиционный пример на аналогичный структурно, но с другими именами: *Черномырдин прочитал словарь Даля*. Однако сегодня уже выросло поколение русских, которые могут не уловить иронии. Сегодня, скажем, ирония легко воспринимается в примере типа *Света из Иваново прочитала «Критику чистого разума» Канта*, но пройдет время и этот пример станет пустым звуком. Именно поэтому классическая античная риторика культивировала практику так называемых *общих мест*. «“Некто” лишает жизни “того-то”, “сей” — “оного”». Эти ситуации битвы очень сознательно и последовательно увидены не как однажды бывшие или могшие быть случаи, но как бесконечно воспроизводимые положения; словно в учебнике логики, положения эти очищены от своих “акциденций” (случайных признаков), т. е. по-нашему от всякой конкретности, и сведены к своим необходимым признакам, к универсальным схемам — к “общим местам”. В нашем лексиконе “общее место” (греч. Κοινός τόπος) — выражение сугубо нелестное. Но для античного риторического взгляда на вещи κοινός τόπος есть нечто абсолютно необходимое, а потому почтенное. Общее место — инструмент абстрагирования, средство упорядочить, систематизировать пестроту явлений действительности, сделать эту пестроту легко обозримой для рассудка. Стоит вспомнить, что Аристотель в “Риторике” неоднократно говорит о чисто интеллектуальном удовлетворении как источнике “приятности” риторического искусства. Вся античная культура воспитывала вкус к общим местам» [Аверинцев 1996: 159].

⁷ Сразу бросается в глаза очевидная вещь: эти два постулата легко объединяются в один — *твое высказывание должно содержать столько и ровно столько информации, сколько требуется*, однако Грайс уточняет свою тактику разделения их на два: «Второй постулат вызывает сомнения: можно сказать, что передача лишней информации — это не нарушение Принципа Кооперации, а просто пустая трата времени. На это можно возразить, однако, что такая лишняя информация иногда вводит в заблуждение, вызывая не относящиеся к делу вопросы и соображения; кроме того, может возникнуть косвенный эффект, когда слушающий оказывается сбит с толку из-за того, что он предположил наличие какой-то особой цели, особого смысла в передаче этой лишней информации. Как бы то ни было, существует еще и другой источник сомнений относительно необходимости второго постулата: тот же результат будет достигнут с помощью одного из дальнейших постулатов, связанного с релеванностью» [Грайс 1985: 222].

⁸ Ср. определение Грайса: «Пусть некто, сказав [...], что p , тем самым имплицировал, что q . Мы будем говорить, что он коммуникативно имплицировал, что q , если выполнены следующие условия: (1) предполагается, что он соблюдает коммуникативные постулаты или по крайней мере Принцип Кооперации; (2) предположение о том, что он знает (или полагает), что q , необходимо для приведения в соответствие с первой презумпцией — о том, что он соблюдает Принцип Кооперации — того факта, что он сказал [...], что p (или того факта, что он это сказал именно так, а не иначе); (3) говорящий считает (и ожидает, что слушающий считает, что говорящий считает), что слушающий способен вывести или интуитивно почувствовать реальную необходимость предположения (2). [...] Коммуникативная импликатура должна быть выводимой, потому что если наличие импликатуры постигается интуитивно, но не может быть логически выведено, то такая импликатура (если она вообще есть) будет считаться конвенциональной, а не коммуникативной. При выводе определенной коммуникативной импликатуры слушающий опирается на следующую информацию: 1) конвенциональное значение использованных слов и знание всех их референтов; 2) Принцип Кооперации и постулаты; 3) контекст высказывания — как лингвистический, так и любой другой; 4) прочие фоновые знания; 5) тот факт (или допущение), что вся указанная выше релевантная информация доступна для обоих участ-

ников коммуникации, и что они оба знают или предполагают, что это так» [Грайс 1986: 227].

⁹ См. обсуждение семантических и прагматических характеристик намека и литературу по вопросу в [Баранов 2006].

¹⁰ При этом такие невербальные действия говорящего, как жесты, мимика, вообще манера держаться перед аудиторией или собеседником заведомо включены в риторическое понятие эффективности, поскольку являются неотъемлемой частью *actio / pronuntiatio* — одной из канонических составляющих классической пятичастной риторики.

Глава 5. Естественная vs культивированная речь

¹ Ср. оценку языка Еврипида у И. М. Тронского: «Язык этот, простой, ясный и вместе с тем чеканный, приспособленный для диалога, рассказа, спора; в последнем случае он иногда приближается к стилю ораторской речи, как бы перенося на сцену приемы судебного словопрения» [Тронский 1988: 151].

² Ср. у С. С. Аверинцева: «Наивно полагать, что тексты, выдержанные в духе идеала нагой простоты, избегавшие украшений (как проза Лисия или Цезаря) или вызывающие у нас представление о безотчетно-спонтанном порыве эмоции (как лирика Катулла), не “риторичны” или хотя бы менее “риторичны”, чем другие тексты, в которых на каждом шагу бросаются в глаза орнаментальные приемы и выпирают школьные схемы. Риторика вовсе не так глупа. Простота (*αφέλεια*) — одна из возможных риторических программ, предусмотренных риторической системой, а Лисий — канонизированный этой системой образец, предмет самого прилежного изучения в риторических школах. Соккрытие грубого каркаса школьных схем — просто-напросто высший класс риторического умения. [...] С тех пор как прогресс рационализма сделал отношение творца к своему творчеству сознательным, рефлексивным, риторика как принцип является для античной литературы едва ли не предельно широким понятием. Все контрасты “искусственности” и “безыскусственности”, “сухости” и “спонтанности” локализуются *внутри* нее. “Безыскусственность” —

да, но как осознанная задача для искусства. “Спонтанность” — да, но подчиненная стабильным правилам» [Аверинцев 1996: 17—18].

Глава 6. ИмPLICITная семантика как риторический прием

¹ Ср. как в стихотворении Дмитрия Быкова обыгрываются коннотации слов *милиция* и *полиция*: «“Милиция” звучит довольно жутко. Мережатся фуражка, труп и бирка, стул, протокол, зловонная тужурка, мигалка, кафель, взятка и дубинка. Полиция приносит дух Европы, другое семантическое поле: душистый газ, изысканные копы, стрельба в ночи, поимка Аль Капоне... Быть жертвою расправы полицейской способен даже бомж багрянолицый; когда ж тебя терзает полицейский — ты пребываешь как бы за границей! А прошлое припомнить благодарно? У нас сидит в подкорке это слово: душистые подушники жандарма, любезный баритон городского... Милиция сегодня — символ быдла, не то что полицией во время оно. Скажи: “Меня милиция побила” — и кто ты есть? Один из миллионов! Зато скажи: “Полиция скрутила” — и ты герой в роскошном фолианте, ты персонаж крутого детектива, бутлегер, хлыщ, профессор Мориарти! С милицией ты жалобен и тленен, но если мы полицию представим — то ты, сражаясь с нею, как бы Ленин, а если ты кавказец — даже Сталин!».

² Ср. замечание акад. Апресяна: «С нашей точки зрения лингвистический интерес представляет лишь та прагматическая информация, которая лексикализована или грамматикализована, т. е. приобрела постоянный статус в языке. В соответствии со сказанным мы будем называть прагматикой закрепленную в языковой единице оценку говорящим следующих трех вещей: действительности, являющейся предметом сообщения, содержания сообщения и адресата. [...] К числу [лексикографически существенной] прагматической информации относятся прагматические стилистические пометы, прагматические признаки (например, перформативность), оценки статусов собеседников в возрастной, социальной или иной иерархии, иллокутивные функции лексем и ее коннотации» [Апресян 1995б: 158].

³ Таким образом, значение лексической единицы традиционно записывается в лингвистической семантике — как компонентная структура лексического значения, состоящая из набора дифференциальных признаков: *жеребец* — 'лошадь + самец'; *кобель* — 'собака + самец'; *девочка* — 'человек + самка + невзрослая' и т. п. См. подробнее в [Апресян 1995а: 7—8].

⁴ О различных пониманиях термина *коннотации* см. [Ревзина 2001], там же литература по вопросу.

⁵ Невозможно указать точно, когда понятие *коннотации* вошло в науку о языке: «Трудно проследить, когда слово «коннотация» было впервые употреблено в лингвистической терминологии. Можно, однако, утверждать, что уже в середине XIX века оно было в ходу в английской лексикографической литературе, связанной с теорией синонимических словарей и практикой их составления» [Апресян 1995б: 158].

⁶ Ср. в хрестоматийной статье И. А. Гончарова «Миллион терзаний»: «Он вечный обличитель лжи, запрятавшейся в пословицу: «один в поле не воин». Нет, воин, если он Чацкий, и притом победитель, но передовой воин, застрельщик и — всегда жертва».

⁷ Зато в русском языке есть устойчивые коннотации у лексемы *рассол*, которых нет в большинстве языков.

⁸ Любопытны анекдоты, эффект которых построен на обмане ожиданий слушающего: в анекдоте не обнаруживается всего того, что коннотирует лексема *чукча*. *Запустили ракету СС-50, она отклонилась от намеченной траектории, улетела на Чукотку. Послали поисковую группу. Они идут по тундре, встречают чукчу. «Скажи, чукча, тут большая огненная палка не летела?» — «Нет, однако. Самолета летела, вертолета летела, СС-50 летела. Большая огненная палка не летела».* См. разбор этого примера — вне постановки вопроса о коннотативной семантике — в [Шмелева, Шмелев 2002: 54—55].

⁹ Еще один сильный коннотатор, не столь давно вошедший в русский язык — *блондинка*.

¹⁰ Принцип работы прагматической пресуппозиции хорошо показывает известный анекдот про Льва Ландау. Он должен был оппонировать соискателю кандидатской степени по физике, прочел диссертацию, посчитал ее очень слабой, но коллеги уговаривали дать приличный отзыв, потому что парень хороший и т. д. После некоторых колебаний Ландау вспомнил, что не так давно были защищены две очень слабые докторские диссертации, и написал в отзыве: «По моему мнению, кандидатская диссертация X-а ничуть не хуже докторских диссертаций Y-а и Z-а». Риторический расчет очевиден: из текста однозначно не следует, что диссертация плохая, но отнюдь не следует и то, что она хорошая. Высказывание A не хуже B семантически не презумпировано ни ‘B плохой’, ни ‘B хороший’. (B отличие от высказывания *A еще хуже B* с семантической пресуппозицией ‘B плохой’. Однако для тех, кто знал мнение Ландау об упомянутых докторских диссертациях действовала прагматическая пресуппозиция ‘диссертации Y-а и Z-а плохие’, что делало очевидным его отношение к рецензируемой кандидатской.

¹¹ Понятие фактивного глагола (или фактивного предиката) введено в работе [Kiparsky, Kiparsky 1970]. Фактивным называется такой глагол, который гарантирует подчиненной ему пропозиции (т. е. тому, что утверждается данным высказыванием) истинность. Наиболее распространенными фактивными глаголами являются *когнитивы* (глаголы знания: *знать, понимать, вспомнить, забыть, напомнить* и др.) и *эмотивы* (глаголы эмоций: *возмутить, взволновать, поразить, обрадовать, смутить* и др.) Высказывания типа *Он знает, что X; Он забыл, что X; Его поразило, что X; Его радует, что X* семантически нормальны тогда и только тогда, когда X истинно.

¹² См., в частности, описание серии экспериментов в [Romoli, Sudo 2011].

Глава 7. Возможна ли универсальная риторика?

¹ Ср.: «Необходимы диахронические исследования вроде следующих: *Меньше ли бьют своих жен современные русские мужья? В какой степени поведение английских футбольных болельщиков соответствует стереотипам относительно англичан? Изменился ли статус собаки*

за последние 50 лет и не устарела ли поговорка “Собаке — собачья смерть”?» [Шайкевич 2005: 16]. (Курсив Шайкевича. — Э. К.).

² «Существующие методы конструирования КМ обращены в прошлое, они а-историчны и даже анти-историчны» [Шайкевич 2005: 16].

Глава 8. Риторика как врожденная способность

¹ Механизм того, как поэзия работает в качестве риторического текста и в первом, и во втором случае хорошо виден на примере проекта Дмитрия Быкова «Гражданин поэт». Поэтические тексты самого Быкова — по своей функции и задачам абсолютно риторические — сообщают риторическую силу и тем исходным поэтическим текстам, на основе которых они написаны. В приведенном ниже примере в риторической функции выступают оба текста — и Дмитрия Быкова, и Иосифа Бродского.

Скоро выборы, и волны с перехлестом.
В «Правом деле» это тоже понимают.
Сверху дунули — и ты уже не босс там:
На коне теперь Дунаев и Минаев.
«Дело» тешит до известного предела —
Остуди его дыханием морозным.
Сколь же радостнее Прохоров вне «Дела»!
И особенно приятно, если Ройзман.
Чтобы выжечь получившееся справа —
А не то еще на выборах прокатит, —
Все извилины напряг верховный Слава:
Там немного, но на Прохорова хватит.
Ты деньгами выделяешься и ростом.
Ты считаешься крутым и интересным,
Но когда ему потребуется, Постум, —
Ты поступишься и временем, и местом.
Неужели это было не противно?
Что за бонус посулил тебе Волошин?
Отношенья кукловода с Буратино
Никогда не завершаются хорошим.

Мы воистину несчастней Украины,
Да и минской диктатуры обреченной.
Мы, оглядываясь, видим лишь руины
Демократии и Аллы Пугачевой.
Вот Богданов: гладко выбрит, мелко завит
И действительно вписался в новый климат.
Что там Путин, говоришь ты? Чем он занят?
Он не занят, но тебя уже не примет.
Поезжай на пресловутом ё-мобиле
В дом гетер на горном склоне в Куршевеле.
Дашь им цену, за которую любили,
Чтоб теперь за те же деньги пожалели.
Получается парламент офигенный.
Чье-то судно, но без ветра и без понта.
На разошедшей скамейке — Гриша с Геной,
Шваль щебечет в темной изгороди «Фронта».
Зажурчала тухловатая водица,
Повсеместно торжествует пафос скотский...
Если выпало в империи родиться,
Лучше жить в другой империи. Как Бродский.

² Квинтилиан «Наставление оратору». Цит. по: [Фрагменты 1998: 172].

³ «[В] последние годы наблюдается заметное оживление интереса к проблемам, которые на самом деле серьезно и плодотворно исследовались еще в XVII, XVIII и в начале XIX вв., хотя впоследствии к ним обращались редко. Более того, возврат к классической проблематике привел к повторному открытию многого из того, что было прекрасно понято в указанный период. Этот период я буду называть «картезианской лингвистикой». [...] [М]не кажется, что в рассматриваемый период можно выделить некоторую совокупность идей и умозаключений относительно природы языка, которая получила последовательное и плодотворное развитие, будучи соотнесенной с определенной теорией мышления; это развитие можно считать одним из последствий картезианской революции» [Хомский 2005: 19, 21].

ЛИТЕРАТУРА

- Авеличев 1998 — *Авеличев А. К.* Возвращение риторики // Группа μ: Ж. Дюбуа, Ф. Эделин, Ж.-М. Клингенберг, Ф. Мэнге, Ф. Пир, А. Тринон. Общая риторика. Благовещенск: БГК им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 1998.
- Аверинцев 1996 — *Аверинцев С. С.* Риторика и истоки европейской литературной традиции. М.: Языки русской культуры, 1996.
- Адо 2002 — *Адо И.* Свободные искусства и философия в античной мысли. М.: ГЛК Ю. А. Шичалина, 2002.
- Алкуин 1986 — *Алкуин.* Риторика. Диалог мудрейшего короля Карла и Альбина, учителя, о риторике и добродетелях // Проблемы литературной теории в Византии и латинском средневековье. М.: Наука, 1986.
- Алпатов 2008 — *Алпатов В. М.* Япония: язык и культура. М.: Языки славянской культуры, 2008.
- Аннушкин 1999 — *Аннушкин В. И.* Первая русская «Риторика» XVII века. Текст. Перевод. Исследование. М.: Добросвет; ЧеРо, 1999.
- Античная поэтика 1991 — Античная поэтика. М.: Наука, 1991.
- Античные риторика 1978 — Античные риторика. М.: МГУ, 1978.
- Апресян 1995а — *Апресян Ю. Д.* Избранные труды. Т. 1. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М.: Языки русской культуры, 1995.
- Апресян 1995б — *Апресян Ю. Д.* Избранные труды. Т. 2. Интегральное описание языка и системная лексикография. М.: Языки русской культуры, 1995.
- Баранов 2006 — *Баранов А. Н.* Намек как способ косвенной передачи смысла // Международная конференция по компьютерной лингвистике «Диалог 2006».
- Барт 2008 — *Барт Ролан.* Нулевая степень письма. М.: Академический проект, 2008.
- Безменова 1991 — *Безменова Н. А.* Очерки по теории и истории риторики. М.: Наука, 1991.
- Бейкер 2008 — *Бейкер Марк.* Атомы языка: Грамматика в темном поле сознания. М.: Изд-во ЛКИ, 2008.

- Беллерт 1978 — *Беллерт И.* Об одном условии связности текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. М.: Прогресс, 1978.
- Бенвенист 1998 — *Бенвенист Эмиль.* Категории мысли и категории языка // *Общая лингвистика.* Благовещенск: БКГ им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 1998.
- Бурас, Кронгауз 2011 — *Бурас М., Кронгауз М.* Жизнь и судьба гипотезы лингвистической относительности // *Наука и жизнь.* 2011. № 8.
- Вежбицкая 2001а — *Вежбицкая А.* Понимание культур через посредство ключевых слов. М.: Языки славянской культуры, 2001.
- Вежбицкая 2001б — *Вежбицкая А.* Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. М.: Языки славянской культуры, 2001.
- Гадамер 1991 — *Гадамер Г.-Г.* Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991.
- Гаспаров 1972 — *Гаспаров М. Л.* Цицерон и античная риторика // *Марк Туллий Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве.* М.: Наука, 1972.
- Гаспаров 1986 — *Гаспаров М. Л.* Средневековые латинские поэтики в системе средневековой грамматики и риторики // *Проблемы литературной теории в Византии и латинском средневековье.* М.: Наука, 1986.
- Гаспаров 2000 — *Гаспаров М. Л.* Античная риторика как система // *Об античной поэзии.* СПб.: Азбука, 2000.
- Гиндин 1998 — *Гиндин С. И.* Риторика и проблемы структуры текста // *Группа μ: Ж. Дюбуа, Ф. Эделин, Ж.-М. Клингенберг, Ф. Мэнге, Ф. Пир, А. Тринон.* *Общая риторика.* Благовещенск: БГК им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 1998.
- Грайс 1985 — *Грайс Г. П.* Логика и речевое общение // *Новое в зарубежной лингвистике.* Вып. X. М.: Прогресс, 1985.
- Группа μ 1998 — *Группа μ: Ж. Дюбуа, Ф. Эделин, Ж.-М. Клингенберг, Ф. Мэнге, Ф. Пир, А. Тринон.* *Общая риторика.* Благовещенск: БГК им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 1998.
- Дараган 2002 — *Дараган Ю. В.* Риторическая структура текста и маркеры порождения речи // *Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Труды международного семинара Диалог'2002.* Т. 1. М., 2002.
- Ельмслев 1960 — *Ельмслев Л.* Пролегомены к теории языка // *Новое в лингвистике.* Вып. I. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.

- Женетт 1998а — *Женетт Ж.* Риторика и образование // Женетт Ж. Фигуры. В 2 т. Т. 1. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998.
- Женетт 1998б — *Женетт Ж.* Сокращенная риторика // Женетт Ж. Фигуры. В 2 т. Т. 2. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998.
- Жмудь 2002 — *Жмудь Л. Я.* Зарождение истории науки в античности. СПб.: РХГИ, 2002.
- Зализняк et al. 2005 — *Зализняк А.А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д.* Ключевые идеи русской языковой картины мира. М.: Языки славянской культуры, 2005.
- Звягинцев 1960 — *Звягинцев В. А.* Теоретико-лингвистические предпосылки гипотезы Сепира-Уорфа // Новое в лингвистике. Вып. I. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.
- Земская 1987 — *Земская Е. А.* Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения. М.: Русский язык, 1987.
- Земская, Ширяев 1980 — *Земская Е. А., Ширяев Е. Н.* Устная публичная речь: разговорная или кодифицированная? // Вопросы языкознания. 1980. № 2.
- ИЛУ 1980 — История лингвистических учений: Древний мир. Л.: Наука, 1980.
- Исаева 1994 — *Исаева В. И.* Античная Греция в зеркале риторики: Исократ. М.: Наука, Издательская фирма «Восточная литература», 1994.
- Кассен 2000 — *Кассен Б.* Эффект софистики. М.; СПб.: Московский философский фонд; Университетская книга; Культурная инициатива, 2000.
- Колесникова 2003 — *Колесникова Э. В.* О риторической функции пресуппозиций // Э. В. Колесникова. Слова языка: Статьи по лингвистике и риторике. М.: МАКС-Пресс, 2003.
- Кубрякова 1997 — Краткий словарь когнитивных терминов. Под ред. Е. С. Кубряковой. — М.: Филол. ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова, 1997.
- Лами 2002 — *Лами Б.* Риторика, или Искусство речи // Е. Л. Пастернак. «Риторика» Б. Лами в истории французской филологии. М.: Языки славянской культуры, 2002.
- Лахманн 2001 — *Лахманн Р.* Демонтаж красноречия: Риторическая традиция и понятие поэтического. СПб.: Академический проект, 2001.
- Ломоносов 1952а — *Ломоносов М. В.* Краткое руководство к риторике // Полное собрание сочинений. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. Т. 7.

- Ломоносов 1952б — *Ломоносов М. В.* Краткое руководство к красноречию // Полное собрание сочинений. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. Т. 7.
- Ломоносов 1952в — *Ломоносов М. В.* Предисловие о пользе книг церковных // Полное собрание сочинений. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. Т. 7.
- Моррис 2001 — *Моррис Ч. У.* Основания теории знаков // Семиотика: Антология. М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001.
- НЛ 1960 — Новое в лингвистике. Вып. I. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.
- НОСС 2003 — Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 3 / Под общим рук. акад. Ю. Д. Апресяна. М.: Языки русской культуры, 2003.
- Ораторы Греции 1985 — *Ораторы Древней Греции.* М.: Художественная литература, 1985.
- Остин 1986 — *Остин Дж. Л.* Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. М.: Прогресс, 1986.
- Падучева 2000 — *Падучева Е. В.* [Словарная статья] Пресуппозиция // Языкознание. Большой энциклопедический словарь. М.: БСЭ, 2000.
- Пастернак 2002 — *Пастернак Е. Л.* «Риторика» Б. Лами в истории французской филологии. М.: Языки славянской культуры, 2002.
- Перельман, Олбрехт-Тытека 1987 — *Перельман Х., Олбрехт-Тытека Л.* Из книги «Новая риторика: Трактат об аргументации» // Язык и моделирование социального взаимодействия. М.: Прогресс, 1987.
- Пинкер 2004 — *Пинкер С.* Язык как инстинкт. М.: Едиториал УРСС, 2004.
- Разговорная речь 2003а — Русская разговорная речь в системе функционирования стилей современного русского литературного языка. Грамматика. М.: Едиториал УРСС, 2003.
- Разговорная речь 2003б — Русская разговорная речь в системе функционирования стилей современного русского литературного языка. Лексика. М.: Едиториал УРСС, 2003.
- Ревзина 2001 — *Ревзина О. Г.* О понятии коннотации // Языковая система и ее развитие во времени и пространстве. М.: Изд-во МГУ, 2001.

- Реформатский 2000 — *Реформатский А. А.* Введение в языковедение. М.: Аспект Пресс, 2000.
- Рождественский 1999 — *Рождественский Ю. В.* Теория риторики. М.: Добросвет, 1999.
- Розенгрэн 2012 — *Розенгрэн М.* К вопросу о доха: эпистемология «новой риторики» // Вопросы философии. 2012. № 6.
- Серль 1986 — *Серль Дж. Р.* Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. М.: Прогресс, 1986.
- Стросон 1986 — *Стросон П. Ф.* Намерение и конвенция в речевых актах // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. М.: Прогресс, 1986.
- Топоров 2000 — *Топоров В. Н.* [Словарная статья] Риторика // Языкознание. Большой энциклопедический словарь. М.: БСЭ, 2000.
- Тронский 1988 — *Тронский И. М.* История античной литературы. М.: Высшая школа, 1988.
- Трубецкой 2000 — *Трубецкой Н. С.* Основы фонологии. М.: Аспект Пресс, 2000.
- Уорф 1960 — *Уорф Б. Л.* Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лингвистике. Вып. 1. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.
- Фрагменты 1998 — Фрагменты ранних греческих стоиков. Т. I. Зенон и его ученики. М.: ГЛК Ю. А. Шичалина, 1998.
- Фреге 1997 — *Фреге Г.* Смысл и денотат // Семиотика и информатика. Opera selecta. М.: Русские словари, 1997. № 35.
- Хомский 2005 — *Хомский Н.* Картезианская лингвистика. Глава из истории рационалистической мысли. М.: КомКнига, 2005.
- Шайкевич 2005 — *Шайкевич А. Я.* Русская картина мира в ряду других картинок // Московский лингвистический журнал. Т. 8. № 2. 2005.
- Шичалин 1999 — *Шичалин Ю. А.* Античность — Европа — история. М.: ГЛК Ю. А. Шичалина, 1999.
- Шичалин 2000 — *Шичалин Ю. А.* Три этапа исторического развития античной философии // История философии: Запад — Россия — Восток. М.: ГЛК Ю. А. Шичалина, 2000.
- Шейнов 2000 — *Шейнов В. П.* Риторика. Минск: Амалфея. 2000.
- Шмелев 2002 — *Шмелев А. Д.* Русская языковая модель мира: Материалы к словарю. М.: Языки славянской культуры, 2002.
- Шмелева, Шмелев 2002 — *Шмелева Е. Я., Шмелев А. Д.* Русский

- анекдот: Текст и речевой жанр. М.: Языки славянской культуры, 2002.
- Эко 1998 — Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб.: Петрополис, 1998.
- Barthes 1970 — *Barthes R. L'ancienne rhétorique // Communications*. 1970. № 16.
- Boroditsky 2008 — *Boroditsky L. How the languages we speak shape the ways we think // Третья международная конференция по когнитивной науке. Тезисы докладов. В 2 т. М.: Художественно-издательский центр, 2008. Т. 1.*
- Chomsky 1980 — *Chomsky N. Studies on semantics in generative grammar*. The Hague: Mouton, 1980.
- Deutsher 2010 — *Deutsher G. Thorough the language glass: Why the world looks different in other languages*. London: Arrow books, 2010.
- Kennedy 1999 — *Kennedy G. A. Classical Rhetoric and it's Christian and Secular Tradition*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1999.
- Kiparsky, Kiparsky 1970 — *Kiparsky P., Kiparsky C. Fact // Progress in linguistics*. The Hague: Mouton, 1970.
- Perelman, Olbrechts-Tyteca 1983 — *Perelman Ch., Olbrechts-Tyteca L. Traité de l'argumentation: La nouvelle rhétorique*. Bruxelles: U. de Bruxelles, 1983.
- Reinhart 1981 — *Reinhart T. Pragmatics and linguistics: An analysis of sentence topic // Philosophica*. 1981. 27.
- Romoli, Sudo 2011 — *Romoli J., Sudo Y. Experimental investigations of conditional and non-conditional presuppositions // Semantics and Linguistic Theory*. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University, 2011.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ

Лингвистика

Аникин А. Е. Русский этимологический словарь. Вып. 6 (*вал I — вершóк IV*) / Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН; Ин-т филологии Сибирского отделения РАН. 2012.

Словарь представляет собой свод этимологий, охватывающий основной словарный фонд русского языка. На основе достижений современной филологической науки в нем рассматривается происхождение и история русских слов, в том числе значительный пласт личных имен и географических названий; в большом объеме представлена этимология диалектной, древнерусской и старорусской лексики. Материал расположен в алфавитном порядке. Для каждой лексемы указываются — при наличии необходимости и возможности — ее параллели в других славянских и неславянских языках, а также праславянский или иной этимон с изложением сведений, касающихся его истории и языковых изменений, результатом которых стала данная лексема.

6-й выпуск словаря содержит лексику от *вал I* до *вершóк IV* (около 1000 словарных статей). Словарь предназначен для читателей, интересующихся историей русского языка и его отношений с другими языками Евразии.

Бабаев К. В. Нигеро-конголезский праязык: личные местоимения. 2013. (*Studia philologica*).

Книга посвящена сравнительному анализу систем личного маркирования в языках нигеро-конголезской макросемьи — крупнейшего генетического объединения языков мира. В состав макросемьи входят более 1500 языков Африки южнее Сахары. Целью работы является проведение ступенчатой реконструкции праязыковой системы личных показателей: через системы праязыков групп и семей к праязыку нигер-конго, существовавшему, как предполагается, в Западной или Центральной Африке около десяти тысяч лет назад. Книга призвана продемонстрировать, что парадигматические сходства систем личных показателей в различных семьях языков нигер-конго не могут быть результатом случайности или ареального контакта и должны рассматриваться как свидетельство глубокого генетического родства.

Книга является первым в отечественной научной литературе опытом описания и системного сравнения более 650 нигеро-конголезских языков. Книга предназначена для специалистов по африканским языкам, сравнительно-историческому и ареально-типологическому языкознанию, африканистов, а также для всех, кто интересуется историей и доисторическим развитием человеческого языка.

Бондарко А. В. Категоризация в системе грамматики. 2011.

В книге рассматриваются взаимосвязанные аспекты категоризации:

а) грамматические, лексико-грамматические и функционально-семантические единства; б) семантические функции; в) полевые структуры: центр и периферия; прототипы; континуальность; пересечения системных объектов; членения с элементами неоднородности (естественные классы); межкатегориальные связи; взаимодействие системы и среды; г) коррелятивность грамматических категорий (соотносительность их компонентов); д) языковые значения и смысловое содержание; категории грамматики и намерения говорящего; е) инварианты в системе категориальных значений. В связи с теоретическими проблемами категоризации анализируются (на материале русского языка) элементы полей аспектуальности, темпоральности, таксиса, временной локализованности, персональности и залоговости. В заключительной главе рассматривается система видовых значений, а также (в связи с проблематикой аспектологии текста) семантика категории временного порядка. Книга отражает современный этап разработки теории функциональной грамматики.

Воейкова М. Д. Ранние этапы усвоения детьми именной морфологии русского языка. 2011.

В монографии рассматриваются начальные этапы формирования именной системы русского языка в речи детей до трех лет. Анализируется материал магнитофонных записей спонтанной речи, дневников и специальных опросников для родителей. Процесс усвоения языка ребенком рассматривается с позиций функциональной грамматики и теории естественной морфологии. Большое внимание уделяется внутриязыковым вспомогательным механизмам, которые способствуют овладению основными навыками склонения. Книга адресована специалистам по усвоению первого и второго языков, теории грамматики и лингвистической типологии.

Зельдович Г. М. Прагматика грамматики. 2012. (Studia philologica).

Если семантику интересует собственная «сущность» языковых единиц, то прагматика занимается вопросом, как же мы эти единицы реально используем. Использование намного богаче и непредсказуемее, нежели семантический инвариант, и особенно хорошо это видно в грамматике, чьи единицы на первый взгляд необыкновенно многозначны и капризны в своем поведении, однако при более глубоком анализе их семантическое устройство оказывается сравнительно несложным —

а реально наблюдаемые капризы их поведения объясняются общими, не специфически грамматическими принципами функционирования языка. Эта книга — о том, как в грамматике взаимодействуют семантика и прагматика, о том, почему грамматика устроена просто, и о том, почему для нас это не всегда очевидно.

Иванов Вяч. Вс. От буквы и слога к иероглифу: системы письма в пространстве и времени. 2013. (Разумное поведение и язык. Language and Reasoning).

В книге представлены работы, посвященные различным аспектам общей дифференционно-интеграционной теории развития, сформировавшейся в трудах Я. А. Коменского, Г. Гегеля, Ч. Дарвина, Г. Спенсера, Вл. С. Соловьева, И. М. Сеченова, Х. Вернера и других мыслителей. Среди обсуждаемых тем как общетеоретические проблемы психического и социального развития, так и вопросы применения теории в конкретных областях: преподавании, детском развитии, в усвоении родного языка и др.

Книга будет интересна широкому кругу педагогов, психологов, экологов, зоологов, физиологов, эволюционистов, психолингвистов.

Касевич В. Б. Когнитивная лингвистика: В поисках идентичности. 2013. (Разумное поведение и язык. Language and Reasoning).

В настоящем издании собраны труды видного российского лингвиста В. Б. Касевича, посвященные проблемам когнитивной лингвистики — интенсивно развивающейся отрасли современного языкознания. В разделах книги рассматриваются основные проблемы когнитивной лингвистики и на конкретных примерах демонстрируются особенности когнитивного подхода к исследованию вопросов, связанных с языком и мышлением, языком и психикой человека и т. п.

Для специалистов по общему языкознанию и всех, интересующихся языком и мышлением человека.

Николаева Т. М. Лингвистика. Избранное. 2013.

В настоящую книгу включено несколько десятков исследований из общего числа 500 работ и 15 монографий (многие из них переиздавались трижды) Татьяны Михайловны Николаевой, члена-корреспондента РАН, иностранного члена Геттингенской академии, профессора, доктора филологических наук, главного научного сотрудника Института славяноведения РАН.

Книга распадается на три части. В первой опубликованы исследования автора (с 2002 г. главного редактора журнала «Вопросы языкознания») по теории языка и эволюции его структуры. Во второй части представлены труды автора по содержательным категориям и их описанию. Третья часть вся посвящена интонации, где Т. М. Николаева, по сути, занимаясь экспериментами более тридцати лет, создала теорию интонации как многомерной структуры со своими уровнями, их единицами

и их функционированием. В течение многих лет (с 1983 г.) Т. М. Николаева была вице-президентом Международного фонетического общества (IPhS) и сейчас является пожизненно членом Международного фонетического общества (IPA).

Многие из публикуемых здесь работ не являются недавними, поэтому у каждого текста проставлен год его первичной публикации. Довести их все до современности просто невозможно. Но по ним видно некоторое «опрежение» автора ряду идей сегодняшнего дня.

Довольно большое число исследований Т. М. Николаевой посвящено загадкам литературных текстов и их разрешению. Они уже опубликованы в ее книге «О чем нам рассказывают тексты?». М.: ЯСК, 2012.

Путь в язык: Одноязычие и двуязычие. Сб. статей / Отв. ред. С. Н. Цейтлин, М. Б. Елисеева. 2012.

Сборник статей посвящен освоению русского языка как первого и как второго. Затрагиваются и другие разнообразные проблемы — одновременного и последовательного двуязычия, утраты одного из языков, языковой интерференции и пр.

Сборник включает три раздела. В первом рассматриваются вопросы, связанные с теоретическими проблемами освоения языка; во втором — освоение русского языка как родного (первого), в третьем — разные аспекты двуязычия.

Авторы сборника — российские ученые, а также исследователи из Германии, Финляндии, Швеции, Австрии.

Книга адресована в основном лингвистам, но представляет интерес и для психологов, педагогов, логопедов — для всех, кто интересуется тем, каким образом человек приобретает язык.

Ритуал в языке и коммуникации: Сб. статей / Сост. И отв. ред. Л. Л. Федорова. 2013. (Studia philologica).

Сборник включает статьи по докладам международной конференции «Ритуал в языке и коммуникации», состоявшейся в Институте лингвистики РГГУ в октябре 2009 г. В нем представлены работы ведущих отечественных и зарубежных исследователей, посвященные разным аспектам изучения ритуала как в современной коммуникативной практике, так и в исторических свидетельствах, на материале русского и других языков, в современных и в традиционных культурах.

Для филологов и лингвистов, антропологов и историков, социологов и политологов.

Русская фонетика в развитии. Фонетические «отцы» и «дети» начала XXI века / Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН. 2013. (Studia Philologica).

Монография содержит описание современной русской звучащей речи на основе фиксации диахронических процессов в синхроническом

состоянии языка. В настоящей работе проанализированы разнообразные звуковые изменения, затрагивающие либо систему в целом, либо одну из частных фонетических подсистем (как собственно языковых, так и социолингвистических). Новейшие данные о русском произношении имеют и чисто теоретическую, и дескриптивную значимость (при кодификации произносительной нормы, в практике преподавания русского языка, в средствах массовой информации, при синтезе и анализе звучащей речи в речевых технологиях). Монография адресована широкому кругу языковедов, особенно специалистам в области фонетики.

Старостин Г. С. Языки Африки. Опыт построения лексикостатистической классификации. Т. 1: Методология. Койсанские языки. 2013.

Книга представляет собой первый том масштабного исследования по созданию новой рабочей модели генетической классификации языков и языковых семей африканского континента, которая могла бы представить серьезную альтернативу для так называемой «стандартной модели» классификации африканских языков, разработанной Дж. Гринбергом более чем столетия тому назад и с тех пор неоднократно подвергавшейся критике за недостаточную основательность.

В первый том исследования вошла вводная часть — подробное описание методологии построения классификации, в которой синтезированы элементы классического сравнительно-исторического метода «многостороннего сравнения» Гринберга и квантитативный подход к языковому материалу; в основе классификации лежит лексикостатистический анализ данных базисной лексики, подкрепленный тщательной этимологической обработкой. Вторая часть первого тома апробирует описанную методику на материале самой малочисленной и во многих отношениях «загадочной» из гипотетических макросемей Гринберга — койсанской (бушменско-готтентотской).

Книга предназначена для внимания специалистов по общему, сравнительно-историческому и типологическому языкознанию; африканистов самых различных профилей и широкого круга читателей, в той или иной степени интересующихся теоретическими, методологическими и практическими аспектами реконструкции лингвистических аспектов предистории человечества.

Якубович И. С. Новое в согдийской этимологии / Отв. ред. С. А. Бураков. 2013. (Studia philologica).

Состоящая из трех частей монография содержит новые материалы по истории согдийского языка — международного языка Шелкового пути. В первой части обсуждается происхождение ряда согдийских слов с неустановленной этимологией, вторая часть посвящена эволюции арамейских элементов в согдийском языке, третья часть содержит издание двух уникальных документов — письма согдийскому князю Деваштичу от арабского эмира и брачного контракта между тюрком и согдийской

принцессой. Монография предназначена для иранистов, индоевропеистов, историков Центральной Азии и специалистов по языковым контактам.

Язык и когнитивные науки

Бикертон Д. Язык Адама: Как люди создали язык, как язык создал людей. 2012. (Разумное поведение и язык. Language and Reasoning).

Веннер А., Уэллс П. Анатомия научного противостояния. Есть ли «язык» у пчел? / Пер. с англ. Е. Н. Панова. 2011. (Разумное поведение и язык. Language and Reasoning).

Горизонты когнитивной психологии: Хрестоматия / Ред. М. В. Фаликман. 2012. (Разумное поведение и язык. Language and Reasoning).

Дифференционно-интеграционная парадигма теории развития. Т. 2 / Сост. Н. И. Чуприкова. 2011. (Разумное поведение и язык. Language and Reasoning).

Кравченко А. В. От языкового мифа к биологической реальности: переосмысляя познавательные установки языкознания. 2013. (Разумное поведение и язык. Language and Reasoning).

Кубрякова Е. С. Когнитивные исследования языка: Поиски сущности языка. 2012.

Панов Е. Н. Парадокс непрерывности: Языковой рубикон. О непроходимой пропасти между сигнальными системами животных и языком человека. 2012.

Риццолатти Дж., Синигалья К. Зеркало в мозге: О механизмах совместного действия и сопереживания. 2012. (Разумное поведение и язык. Language and Reasoning).

Русакова М. В. Элементы антропоцентрической грамматики русского языка. 2013. Прилагается CD.

Томаселло М. Истоки человеческого общения / Пер. с англ. 2011.

Фитч У. Т. Эволюция языка / Пер. с англ. и науч. ред. Е. Н. Панова; послесл. Е. Н. Панова, послесл. А. Д. Кошелева. 2013. (Разумное поведение и язык. Language and Reasoning).

Поэтика и поэзия

Гаспаров М. Л. Избранные труды. Том IV: Лингвистика стиха. Анализы и интерпретации. 2012.

Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем: В двадцати томах / Ред. коллегия: И. А. Айзикова, Э. М. Жилиякова, А. С. Янушкевич (гл. редактор) и др. Т. 9: Дон Кишот Ламанхский. Сочинение Серванта. Переведено с Флорианова французского перевода В. Жуковским / Ред. И. А. Айзикова. 2012.

Игошева Т. В. Ранняя лирика А. А. Блока (1898—1904): поэтика религиозного символизма. 2013. (Studia Philologica).

Козлов В. И. Русская элегия неканонического периода: очерки типологии и истории. 2013.

Пискунова С. И. От Пушкина до «Пушкинского Дома»: очерки исторической поэтики русского романа. 2013. (Studia philologica).

ЛИТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА, МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Акты Новгородского Вязищского монастыря конца XV — нач. XVII в. Вып. 2. Материалы по истории Новгорода и Новгородской земли / И. Ю. Анкудинов (ред.). 2013. Прилагается CD.

Бакиш Н. Преодоление границ. Литература и теология в послевоенный период в Германии, Австрии и Швейцарии (1945—1955). 2013.

Вопросы культуры речи. Вып. 11 / Отв. ред. А. Д. Шмелев. 2012.

Грановский Т. Н. Исторические характеристики / Сост. А. А. Левандовский и В. Л. Семигин; вступит статья А. А. Левандовского; подгот. текста и примеч. В. Л. Семигина. 2013. (Разумное поведение и язык. Language and Reasoning).

Дементьев В. В. Коммуникативные ценности русской культуры: категория персональности в лексике и прагматике. 2013. (Studia philologica).

Джаксон Т. Н., Коновалова И. Г., Подосинов А. В. Imagines mundi: античность и средневековье. 2013. (Studia historica. Series minor).

Кириллин В. М. О книжности, литературе, образе жизни Древней Руси. 2013. (Studia philologica).

Ларина Т. В. Англичане и русские: Язык, культура, коммуникация. 2012.

Латухинская степенная книга. 1676 год / Изд. подгот. Н. Н. Покровский, А. В. Сиренов; отв. ред. Н. Н. Покровский. 2012.

Материалы по истории Новгорода и Новгородской земли. Вып. 1.

Материалы по истории землевладения окрестностей Новгорода Великого / И. Ю. Анкудинов (сост.). 2013.

Михайлов А. Д. Поэтика Пруста / Изд. подгот. Т. М. Николаевой. 2012.

Михайлова Т. А. Ирландия от викингов до норманнов: Язык, культура, история. 2012.

Оксфордское руководство по философской теологии / Сост. Томас П. Флинт, Майкл К. Рей; ред. М. О. Кедрова. Ин-т философии РАН. 2013.

Плетнева А. А. Лубочная библия: язык и текст. 2013. (Studia philologica).

Ратмайр Р. Русская речь и рынок: Традиции и инновации в деловом и повседневном общении. 2013. (Studia philologica).

Русская германистика: Ежегодник Российского союза германистов. Т. 10. 2013.

Сендерович С. Я. Фигура сокрытия: Избранные работы. Т. 2: О прозе и драме. 2012.

Славянский стих. Т. IX.: Лингвистика и структура стиха / Под ред. А. В. Прохорова, Т. В. Скулачевой. 2012. (Studia poetica).

Смыслы, тексты и другие захватывающие сюжеты: Сб. ст. в честь 80-летия Игоря Александровича Мельчука / Под ред. Ю. Д. Апресяна, И. М. Богуславского, Л. Ваннера и др. 2012. (Studia philologica).

Старообрядчество в России (XVII—XX вв.): Сб. науч. тр. Вып. 5 / Отв. ред. и сост. Е. М. Юхименко. 2013. (Studia historica).

Степанян К. А. Достоевский и Сервантес: диалог в большом времени. 2013. (Studia philologica).

Тюрина Г. А. Из истории изучения греческих рукописей в Европе в XVIII — начале XIX в.: Христиан Фридрих Маттеи (1744—1811) / Отв. редактор Б. Л. Фонкич. 2012. (Монфокон. Вып. 2).

Эволюция понятий в свете истории русской культуры / Отв. ред. В. М. Живов, Ю. В. Кагарлицкий. 2012. (Studia philologica).